

KI 1513962

ac





Радуйся!

Лариса
Матронова

Лариса Патракова

Держись Горы

Санкт-Петербург

«Друзья»

2005

ББК 84(~~2Рос~~=Рус)
П 20

Патракова Л. Р.

П 20 Радуйся! Стихи и проза: В 2 кн. – СПб.:
«Друзья», 2005. – Кн. 1: Держись Горы. – 248 с.
ISBN 5-94542-171-5

В первую книгу нового сборника Ларисы Патраковой вошли стихи, ранее опубликованные в сборнике «И завтра Спас...», и прозаические произведения.

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 5-94542-171-5

© Л.Р. Патракова, 2005

Из немногих рецептов благополучно дожить до старости знаю один верный: сохранить и взлелеять в себе ребёнка. Четырёхлетняя девочка во мне продолжает удивлять и радовать меня всё больше и больше.

И она хорошо знает, что невысказанная благодарность почти такой же грех, как и неблагодарность.

Десятки людей из Петербурга, Черногловки, Сиднея, Оттавы, Вашингтона, Вологды, Москвы, Ярославля вложили свои средства в издание этого двухтомника. И не только средства, но и своё многолетнее ожидание этой книги, и надежду свою, и любовь.

*Многих могу назвать поименно, о ком-то ничего не знаю, но **всем – СПАСИБО!***

Я посвящаю эту книгу ребенку в каждом из вас!

В книгу вошли стихи 1966–2005 гг.

Лариса Патракова
6 ноября 2005 г.

*Всем, кто верил, когда сама
Верить я до конца не смела,
Всем, кому я негромко пела,
Всем, кто подал тогда сполна
В душу, что и братъ не умела...
Всем, кто шел по моим следам,
Повторяя напев несложный,
Кто и вздохом не предал
ложным,
Всем, кому до конца не воздам:
Невозможное – невозможно.*

* * *

*Александре Галановой,
Реональду Афанасьеву –
моим родителям*

Многоголосье жаркое похвал,
Хула до неба и молчанья трубы –
Как с гор в долину сброшенный обвал,
Как окрик в ночь, что не тебя позвал:
Душа от этого идет на убыль.

Не лучше ли наедине с судьбой
Держать в руках дарованную чашу
И пригубить напиток неземной...
Когда стоишь у Бога за спиной,
Забвенье и бесславие не страшно.

1972 г.

* * *

И я живой сосуд из старых глин,
В котором время убывает точно:
Ритм вечных, ниспадающих долин
И долгий век могучих вод проточных.

Ритм океанской сумрачной волны
И горные секунды злых обвалов...
Я помню час начала той войны,
Где в самых древних песнях
не бывала.

* * *

За туманами деревню узнаешь?..
Кони ржут – местный князь собирает рать,
И вдоль поля, где в колос уходит рожь,
Мчится русская конница умирать.

Бабам пыль застит свет васильковых глаз,
Колокольня оплачет прощальный звон:
Русь такую деревней не раз спаслась,
Когда лезли враги с четырех сторон.

На пригорке, который – могильный холм,
Громче крикнется, тише спросится:
Узнаешь этот дуб, этот крайний дом?
С крыши всадник в небо уносится...

Плач матери

Накорми коня и, попоною
Накрывая его расшитую,
Поклонись родне во все стороны –
В злом бою тебе быть убитому.

Поклонись дубам – ты под ними рос,
Этим помнить тебя дольше всей родни,
И от дома прочь, вдаль за сотни верст,
Плетью бешеной в ночь коня гони.

На земле своей тебе мертвым быть:
Враг стоит в стени – кони кованы...
Для того рожден, чтоб смогли убить –
О твою-то грудь стрелы сломаны...

А придет весна с ее птахами,
С ее водами, ой да вешними...
Знай, что мы тебя здесь оплакали,
Помянули тебя но-здешнему...

Накорми коня и, попоною
Накрывая его расшитую,
Поклонись родне во все стороны –
В злом бою тебе быть убитому...

Речь Дмитрия Донского перед началом битвы

Рать поставлена на выруб –
Нам ли страшно умирать?!
Всем для этой битвы шила
Смертную рубаху мать...

Всех положит враг до света –
Сил не станет убивать:
Черной тучей поле это
Новая накроет рать.

Мы поставлены на выруб –
Вам победу добывать:
Для бессмертной славы шила
Смертную рубаху мать...

Шила с песней и молитвой,
Знала: сына не видать...
Мать хотела этой битвы,
Русь просила этой битвы,
Встать живым – унасть убитым:
Я на выруб ставлю рать!

* * *

В который раз в дорогу соберусь:
В Троянов век уйти тропой незримой...
Чем дольше память – тем сильнее Русь,
Которая лишь в песне обозрима.

Я смутно помню, как рожденья час,
Ее напевы, беды, даль без края...
Кто предка моего от смерти спас,
Ни я, ни мой потомок не узнает...

Но я смотрю туда во все глаза
И слушаю сквозь дали и столетья –
Какое слово предок мой сказал
Тому, кто спас его от страшной смерти...

Я слушаю, а Русь в снегах лежит –
Ни огонька на чутких древних башнях...
Далекая звезда в ночи дрожит...
Чем дольше память – тем душа бесстрашней.

* * *

Не вспоминай – не мучайся началом:
Все началось в немыслимой дали...
В каком столетье птица закричала,
Услышав, как душа твоя болит?

Ей вслед стрелу пустили на рассвете:
Твой пращур этой птицей будет сыт...
Стрела за птицей и сейчас летит –
Все началось, а ты и не заметил...

При посещении разрушенного монастыря

Еще угадывалась жизнь
На этом крутолобом склоне:
Вяз, безобразен и кряжист,
Тянулся вровень с колокольной,
Остатки стен в траве до плеч
Еще надеялись на что-то,
И русская звучала речь
С могильных плит среди болота...

Здесь памяти сдавалась в плен,
Здесь знала путь кратчайший к цели:
Прожить, как камни этих стен,
Что и в забвенье уцелели.

* * *

По самому краю четырнадцатого столетья
Шли друг за другом, а воды и солнце
Дышали тишайшей молитвой на свете...
В траве различала я след Ферапонта...

Ферапонтово

Словно пет меня — только имя,
Тень моя при высоком полдне...
Здесь покоем меня опоили,
И сама о себе не помню.

Что нарушит мое безмолвие,
Если я при дороге камень,
Если времени я не помню,
Если мир не сказать словами...

Одуванчика вздох бесплотный,
Птичий росчерк в бездонной сини...
Здесь сама от себя свободна:
Мне оставлено только имя...

* * *

Ночь, размытость чутких линий,
Монастырских глав сиянье...
У ворот сказала имя,
Как спросила подаянье.

Кто копейкой стертой, медной,
Кто куском ржаным, пахучим –
Поделиться самый бедный
Самым лучшим...

Молча проводили в келью,
Принесли воды холодной,
И сама себе не верю,
Что уснула не голодной.

* * *

Перчатки, сленок рук крылатых,
От радости швырнула в небо...
Две черных птицы, только немы,
Не пали в ноги мне обратно.

Шел май, и память лип могучих
Бесстрашно разрешалась кроной...
Двух птиц я зашвырнула в тучи
Вдогонку монастырским звонам...

* * *

Такая прозрачность осеннего воздуха,
Так пахнет земля перезрелыми злаками,
Тяжелое небо тяжелыми звездами,
Как будто слезами людскими, заплакано...

Язычеством дышит здесь даль сумасшедшая:
Закаты, холмы – словно птицы уснувшие,
Крещеных язычников бодрое шествие,
Не иомня вчера, настигает грядущее...

А даль двух озер распахнула объятия
Холму, на котором, как облако белое,
Крылатый собор Рождества Богоматери
С прильнувшим к нему Никольским
приделом...

Собору Рождества Богородицы

На паперти, под ветра шум,
Перед знакомой дверью в рай,
С тревогой вещею прошу:
«Помедли, дверь не отворяй.

Войду, когда не станет сил
Земною музыкою жить...»
Но имя Гавриил спросил,
И невозможно отложить:

Пока сияет Деисус,
Пока за этой дверью свет,
Войду, и если не вернусь,
Не верь, что этой двери нет...

На лесах собора Рождества Богородицы

Вхожу под утро в теплый полусвет:
Круженье шатких лестниц, переходов,
Люнеты, арки, нефы, тайны сводов,
И мне назад пути отсюда нет.

Как трудно привыкаю к высоте,
Которую бесстрашно угадала:
Я здесь впервые, но я здесь бывала –
Блаженствуя в утробной немоте,
Когда и мать меня еще не знала.

И там простор угадывался мной
И необъятность этих гулких сводов,
И там предчувствовала я свободу –
Еще не сделав первый вдох земной...

Вхожу под утро в теплый полусвет:
Круженье шатких лестниц, переходов,
Люнеты, арки, нефы, тайны сводов,
И мне пути назад отсюда нет.

Дионисию

Из глубины другого бытия
Смотрели лики неотступно, строго:
Не жизнь за ними – тайна жития...
И день мой – сирий, сумрачный, убогий –
Вдруг озарился солнечным лучом,
Который исходил из тех пределов...
Я оглянулась – ангел за плечом...

* * *

Долиной плача проходя однажды,
Я умирала от вселенской жажды,
Но не было вокруг живой воды:
Под этим плачем не подняться птице...
Мои окаменевшие следы
За мной тянулись черной вереницей.

Едва прошла долину напрямик,
Как тот же путь обратно был назначен...
Теперь бы только жажду сохранить –
Теперь мой каждый след пробьет родник,
И журавлей серебряная пить
Прошьет надеждой черный голос нлача...

* * *

Какое слово мне не угадать,
Какое слово знала и забыла?
Молчать – солгать, и не молчать – солгать...
В мою ли душу будут подавать –
Ведь я ее просить не научила!

Смирить гордыню – как весной реке
Хватает силы принимать в подарок
Глоток воды – не больше в ручейке –
И для души есть соразмерность дара.

Попробуй в гору ношу донести,
Себе не помогая словом страстным...
Оно меня захочет ли спасти?
Мне и назад уже не добрести,
И сбросить ношу я теперь не властна.

* * *

Бесстрашно, сиротливо, одиноко
Стихи сошлись еще до колыбели...
Какие звезды угадали сроки,
Какие тайны матерью владели?

Какая птица подарила память,
О чем молилась бабка, что просила,
Когда от боли яростной стихами
Всю ночь спасалась мама через силу?

Мне не вернуться в этот час – он канул,
Но в слове прорастает память эта –
Молила бабка: не пошли поэта.
Стихи читала еле слышно мама.

* * *

Жизнь поэта – мера пребывания
Здесь и там, тот полустанок синий
Без примет, без точного названья,
Где немногие из нас гостили.

Золотые чаши равновесья:
Память и забвенье – дар и тайна...
Вздохом можно чашу перевесить
И нарушить меру пребывания.

* * *

«Помру, и некому читать Псалмы, –
Сказала бабка. – Страшно только это:
Как уходить отсюда – не отпетой?»
И долго-долго с ней молчали мы.

Но смотрит на меня, решая что-то,
И говорит: «А не взялась бы ты?
Стихи писать – похожая работа...»
И старенькую достает Псалтирь.

* * *

Стихи – старухи с древними очами –
Всю жизнь дают мне мудрые советы –
Учили плакать долгими ночами
И сильной просыпаться у рассвета.

* * *

Стихом огонь случайный укротить:
Тяжелым, медленным, как ностунь, ритмом...
Коленями – на каменные плиты,
Стихи – твой монастырь, твоя молитва, –
О лишнем не дозволено просить.

Путь отречения не бывает прост:
К нему приходишь, если просишь много...
На каменные плиты – у порога!
И даль стиха – терновая дорога,
Где холодно от света вечных звезд.



«Что надобно тебе?» – она спросила.
«Не надо ничего», – и в даль пруда
Из рук на волю рыбку отпустила,
Но эта рыбка золотой была.

Вернулась, предлагала то и это:
Примерила я несколько перстней,
Старинные тяжелые браслеты,
Но каждый раз отказывала ей.

То велико, тот некуда носить,
То не по праву, это мне не надо...
«О чем-нибудь ты можешь попросить!» –
Вскричала рыбка, полная досады.

И я взмолилась: «Отпусти, нет сил:
Я шла сюда за улетеvшей строчкой,
Обидеть не хотела я, прости...» –
«А говорила – ничего не хочешь!»

* * *

«Ничего же хочу! И богатства не надо,
И любви, коль настигнет, и славы в веках...
Но за все отмолю, отстрадаю награду,
Чтобы слово живое звенело в стихах,
Чтобы были слова как мечи среди битвы:
Добывали победу – хоть кровью плати...
Отмолю, испрошу в самых жарких молитвах...
Ничего не хочу!» Гость далекий притих,
А потом отвечал мне с веселою злостью:
«От всего отказалась? Мудра, как змея, –
Так бесстыдно, так много, так страшно
ты просишь,
Что боюсь – отказать тебе будет нельзя».



Декабрь в деревне темен и суров,
Сидели с лампой вечером однажды
И ждали: сказку дед сейчас расскажет
Под музыку сухих еловых дров.

Метель по крыше била, как крылом
Испуганная, пойманная птица,
Дом облетала сотни раз кругом,
Не уставая в наши окна биться.

Сидели молча, слушая метель,
И даже дед не начинал рассказа...
Вдруг показалось: постучали в дверь...
Прислушались, поверили не сразу,

Что кто-то в эту непогодь и тьму
Стоял с нуждой у нашего порога...
И дед шагнул к дверям, а вслед ему
С тревогой бабка помянула Бога...

Мы ждали так, когда они войдут,
Как ждут лишь в детстве: и страшись, и веря...
И вечность длилась долгих пять минут...
Метель рвала распахнутые двери,

И человек шагнул через порог,
Зандевелый, маленький, усталый...
Дед снять шинельку сам ему помог,
А бабка причитать не уставала:

«Да как же, в эту непогоду и тьму...
Рожёный мой, ты, Лешенька, откуда?»
Наш гость держал холщовую суму –
Мы точно знали, что случится чудо.

Предмет загадочный достал на свет –
Футляр продолговатый и блестящий...
«Сначала съешь-ка, Лешенька, обед», –
Дед отодвинул в вечность наше счастье.

Метель летала по двору кругом,
От злости, что сумели разминуться,
Так била в окна бешеным крылом,
Так путника звала назад вернуться...

А путник крошки со стола собрал,
В углу иконе черной поклонился...
«Ну, Лешенька, теперь бы и сыграл»,
Футляр блестящий, как ларец, раскрылся...

Метель сложила крылья в тот же миг –
Звенели лишь натянутые струны:
Играл нам жизнь свою скрипач-старик,
И не поверить в чудо было трудно.

Играл бродяжка, нищий, полубог,
Не за обед платил – дарил пам душу.
А утром молча вышел за порог
И через год метелью был задушен.

* * *

Я у судьбы выпрашивала встречу,
И ничего не обещали мне,
Но звезды загорались каждый вечер,
И птицы жили на моем окне.

Просила все, сейчас и чтобы сразу –
Дары ушли сквозь палыцы, как песок,
Но на страницу опускалась фраза
И жестким клювом целила в висок.

Просила чуда, милости просила,
И ничего не обещали мне...
Полжизни среди дальних звезд гостила,
Стихов на волю стаю отпустила
Да зерна рассыпала на окне...

* * *

И завтра Спас. Не уставала ждать:
Год рисовала яблоки в тетради...
С рассветом в старый сад смогу вбежать
И яблоко созревшее погладить...
Прольется свет в ладони до конца,
А сверху свет преображенный хлынет,
И ослепит, и даже жизнь отнимет —
Не отверну счастливого лица.

* * *

Всё Спас, всё яблоки, всё торг,
Где цены не уступят бабки:
Рассыпанные, как лото,
Ломают яблоки прилавки.

Всё Спас, всё яблоки да мед,
Всё запахи, всё август жаркий...
Старуха в ярком полушалке
Не зря так дорого берет...

* * *

Вот и Спас без яблочного запаха:
Вымерзшие яблонн бесплодны...
Ветку каждую в саду оплакала
В день Преображения Господня...

* * *

Гулко падает томный плод –
Сладким соком землю поит,
А в проеме резных ворот
То ли ангел, то ль зверь стоит...

Как похож па меня во всем:
Значит, это и есть – двойник?
Из какой он сказки спасен,
Из какого бреда возник?

Почему он со мной один,
Если двое нас каждый миг?..
Мы друг другу в глаза глядим:
Каждый думает – он двойник!

Гулко падает томный плод –
Зрелой силой землю поит,
А в проеме резных ворот
То ли я, то ли он стоит...

Сад растет на моем пути –
Слышу яблоч спелую песнь,
Манят, просят меня войти,
Только там уже кто-то есть...

* * *

«Скорбное сердце движением
губ не утешить...»

И. Лесков

Скорбное сердце движением губ не утешить –
Слово найди, у которого долгая память:
Горсть на ладони горячих от солнца черешен
В стылом апреле, где снег и не думает таять.

Скорбному сердцу и слово такое – немного:
Плачь, если можешь заплакать, себя забывая...
Первая песня земли была жалоба Богу –
Чище, светлей, вдохновенней лишь слезы
бывают...

* * *

Из одного источника течет ли
И сладкая, и горькая вода?
Уста наши лукавые без счета
Твердят сегодня НЕТ, а завтра ДА.

Слова проклятья и слова любви
Равно готов исторгнуть наш язык...
Злой, смертоносный яд таится в слове,
И к собственному жалу ты приник..

* * *

В тишине прогремит гроза,
Птица вскрикнет и ночь расколет.
Нам молиться не образам
Под высокий звон колоколен.

Нам молиться тому, что в нас
Никогда не найдет ответа...
День зеленой свечой угас,
А дожить суждено до света.

И тогда в бездонную ночь
Мы молитву свою возносим,
Но так мало и робко просим,
Что никто не посмеет помочь.

* * *

Все ветры здесь, и тянет сквозняком,
Дом обошел, а выход не приметил...
Однажды здесь проснулся на рассвете
И сам с собой как будто не знаком.

Но смутно вспоминался этот дом:
Портреты в рамах, книги, стол рабочий,
В окне река (теперь, куда захочет, течет,
А было устье и исток).
И ты был в доме том не одинок,
И жили в нем герои давних строчек...

Но тот же дом, лишенный вдруг примет,
Ориентиров жизни, звуков вечных...
Здесь от рассвета потянулся вечер,
А полдня в нем и не было, и нет...

Начни сначала... Близится рассвет,
А значит, там восток, а это – запад:
Вчера там луч последний трепетал...
Ты растерялся просто, ты устал,
Заплачь, ты можешь, ты умеешь плакать,
Заплачь, начни сначала, ты устал...

* * *

Мне посоветовали умереть
И рукопись прервать на полуслове...
И сразу выйдет книга с предисловьем,
Где раннюю мою оплачут смерть.

Пути другого для стихов моих
Не видит их восторженный читатель.
В глаза твердит заботливый издатель,
Что после смерти заживет мой стих...

Мне логика такая не с руки,
Хотя известны всем ее примеры...
Бог даст мне силы, мужества и веры —
Не осквернить отчаяньем стихи.

* * *

Тени плясали, как волки вечерние,
Ветер уключины зло выворачивал,
Не получилось – уплыть по течению:
Лодкою тешилась буря незрячая.

Полосовала холодными струями –
В капле дождя по свинцовому зернышку...
К утру и до смерти дождь зацелует –
В щенки мое превратится суденышко.

Голос подать – берега обезлюдели,
Прыгнуть и плыть – водяные повылезли;
Нет на спасение даже иллюзии –
Ясно одно: мне отсюда не выгрести.

Тени плясали, как волки вечерние,
Быстрый рассвет съели тучи крошечные...
Но развернуло нас против течения,
И водяные остались безгрешными...

* * *

Шалые ветры задули фамильные ели,
Полночь зажгла золотую звезду на удачу..
Самой классической и безнадежной метелью
Лес был захвачен.

Я проспала это жадное, буйное действо,
Снился июль, и река была чистой, как слезы..
Сон был прекрасен, но полон дыханьем
злодейства:
Это за окнами ветры ломали березы.

В снежном котле докинала ползучая выюга,
Мертвым деревьям спасенные кланялись
в пояс...

Я просыпалась, как будто приехала с юга
Сразу на полюс...

* * *

И я не обнаружила себя
Однажды в этом дне и в том пространстве,
Где я жила, в бесстрашном постоянстве
Кудель льняную с песней теребя...
Пошла искать. И обошла по кругу
Минувшие столетия. И время –
Тот падший ангел, скорый на услугу,
Явил и в этот раз свое уменье.
Из тысячи путей избрав один,
Он вел меня, печальный и крылатый,
Вокруг дымились сонмы виноватых –
Он от меня очей не отводил.

«В какой воде плывешь – такую пить», –
Шумел народ – такой же ангел падший...
Он пьет, он пишет, он и землю нашет,
А у меня нет сил его любить...

* * *

В Благовещенскую неделю,
На ломкий, розовый снег хрустящий
Холсты льняные с утра расстелем –
Нам всем на счастье.

Не я ткала их живую радость,
Моей заботы они не знали:
В наследство не от чужих достались –
Их на помин мне старухи дали.

Помянем интеллигентных самых
И на сегодня во всей России
Старух с неслышными голосами:
Они невозможное нам простили...

В Благовещенскую неделю,
Если черный снег не повалит,
Холсты, льняные холсты отбелим –
Бессмертных российских старух ПОМЯНЕМ.

Соловки

1

В третьем тысячелетии до нашей эры
Здесь было место границы света:
Сюда привозили своих умерших
Со всех берегов – далеких, близких –
И возносили костер погребальный,
Песню и плач золотому небу.
В путь провожали своих умерших,
Им выстилали дороги камнем...
Так помогали живые – мертвым.
В третьем тысячелетии до нашей эры
Здесь начинались пути на небо...
Я проходила по тем дорогам
Едва живая.

Соловецкие дни утекли в соловецкие ночи,
 Все сменяла метель: тайны, ужасы и чудеса,
 Каждый камень – по сердцу, по кровью зажегся
 платочек,
 Когда к башне Успенской его невзначай
 поднесла.

В каждом камне – по сердцу,
и каждое сердце живое,
Этот мир на крови поражает
плодов торжеством...
А платочек заветный отмыть захочу –
не отмою, –
Соловецкие почвы раскинули руки крестом...

Соловецкие дни утекли в соловецкие ночи,
Все сменила метель: тайны, ужасы и чудеса...
Каждый камень – по сердцу, по кровью зажегся
платочек,
Когда к башне Успенской
его невзначай поднесла.

Сухой огонь брусники и листвы
Не угасал до линии прибоя,
И даль ясна, и помыслы чисты,
И только рук озябших не отмою...

Пятьсот озер я обошла вокруг
И тысячу заброшенных колодцев,
Но кровь отмыть никак не удастся
С моих невинных, но дрожащих рук...

Песня

Белая рать, красная рать –
Русская кровушка...
Здесь умирать, там умирать,
Птаха-соловушка...
Белая рать, красная рать
Непобедимая...
Этим и тем – всем умирать,
Участь единая.
Белая рать – русская честь.
Красная кровушка...
Этих и тех – век не отнять,
Птаха-соловушка...

* * *

Зеленым мхом заросшие слова
На каменных устах пророков лживых.
По грудь во лжи... Щеноть разжать – пуста,
И ложная отмерена верста,
И ничего... Бредем себе – и живы?!

Год 1988

Такая сила правды недоступна:
Так льют вино в надтреснутый сосуд:
Ни аромат, ни крепость не спасут,
Да и разбавят невзначай попутно...

* * *

Я погасила ясный, синий взгляд:
Не обнаружить, что душа крылата...
Они пришли за Понтием Пилатом:
Он видел Бога – значит, виноват.

Истории стеклянные глаза
Все отражают, ничего не видя:
Младенца сдуру баба заспала,
А так она и мухи не обидит...

Я погасила ясный, синий взгляд,
Но руки выдают – душа крылата...

* * *

Если не птица – кто? Крыла излом
В такой дали, откуда нет возврата.
И где, скажите, настоящий дом?
Из неба возвращаться ли обратно,
Чтобы потом, пугаясь немоты
И злую силу крыльев ощущая,
Опять хотеть до страсти высоты,
Которая лишь песню обещает
И больше ничего...
Мне нмя – плен...

* * *

У края лета выбирала троны,
Пила из самых чистых родников,
Плоть яблок спелых – плоть моих стихов –
И птичий клин укладывая в строфы,
В такой дали бывала наяву,
Откуда возвращалась эхом горним...
Лишь умирая, прорастают зерна...

* * *

Только с птичьим полетом
 могла бы строку я сравнить,
Где и слово, и жизнь совпадают
 дыханьем единым...
Выткать плотью стиха белоснежную,
 звонкую нить,
Чтобы в сердце вошел ослепительный плач
 лебединый.

Чтобы сила крылатая вдаль улетающих птиц
Не давала разбиться стихам моим
в долгом полете,
Чтобы стан взлетали с полей беззащитных
страниц...
Но пока в моей книге, похожих стихов
не найдёте...



Я доиграюсь с птицами когда-то:
Однажды, среди поля, ясным днем
Взлетела стая облаком крылатым
И опалила песней, как огнем.

И хороводом бешеным, опасным
Кружила, не давая мне уйти:
«Решайся, ты всегда была согласна,
Всегда просила нашего пути...»

Петлею мертвой душу заарканив,
Удерживаю руки, как крыла,
А стая надрывается: «Обманет –
Страннится неба, но зачем звала?»

Зачем нам подражала в жарких песнях
И крылья примеряла среди снов,
Зачем смотрела жадно в поднебесье
И постигала наше ремесло?

Ты в профиль на одну из нас похожа,
И птичье имя подарила мать,
Твой стих на наших голоса положен –
Украли мы заветную тетрадь...»

Кричали дерзко, душу надрывая,
И в крыльях бешеных звенела медь...
А я, не оступившись, шла по краю
Земли и неба, дальше – не посметь.

* * *

Концы и начала –
Одна невозможная нота...
Как птица кричала,
Забывшая чудо полета.

Не помня восторга,
Тревожно кричала и сиром...
Серебряным горлом
Забывшее счастье просила.

Но сколько неправды
В бескрылой серебряной песне,
И, падая в травы,
Она остывала на месте.

Концы и начала –
Одна невозможная нота...
Как птица кричала,
Забывшая чудо полета.

* * *

Косяк гусей как точная цитата:
Я пролистала, я нашла страницу,
Где радовалась силе их крылатой,
Где дар весны мне возвратили птицы.

Листала книгу щебета и пенья,
Музы́ки летних, сказочных лесов,
Где каждое мое стихотворенье
Набито хором птичьих голосов...

В соседнем небе точная цитата
Весны минувшей. Ночи напролет
Музы́ки вечной длится перелет,
Где и само молчанье крылато.

* * *

Не я кричала в тишине ночной –
Кричала птица, мой покой нарушив,
Но слышала я жаркий голос свой,
Который бился за окном, снаружи...

Что там случилось, кто кого зовет
И что со мною завтра приключится?
Как странно моим голосом поет,
Как жалобно кричит ночная птица...

* * *

Чуткость ночи на границе
С серой зыбкостью утра –
Сплю, как раненая птица,
Среди самых буйных трав.

Сплю на грани пробужденья,
Помню все полеты дня,
Звуки завтрашнего пенья
Прорастают сквозь меня.

* * *

Белокаменной стеной высокою
Лебеди взлетели и растаяли...
Их догнать могу лишь в клюве сокола –
Потому к земле как прирастаю я...

Им тянула руки вслед до хруста я,
Им кричала вслед: «Хочу лететь!»
Лебеди взлетели, как напутствие:
«Оставайся – петь!»

* * *

Окутаны друг другом, как плащом,
В котором поцелуи чутко дремлют,
Мы рядом шли, и мудрые деревья,
Как стражи, вырастали за плечом...

Оглушены своею тишиной,
Мы были беззащитны и бессмертны,
И нашу тишину хранили ветры,
И вечный бор стоял за нас стеной...

Жизнь только начиналась в этот миг,
И было все до чуда, до начала...
И чайка в клюве ястреба молчала,
Хотя ее бы спас предсмертный крик...

* * *

Птицы поцелуев отлетели –
Редкая в ночи перо обронит...
Я спала в священной колыбели
Ваших мудрых, солнечных ладоней.

Я спала, как травы на закате,
Прорастая тишиной бездонной,
В сумраке священного объятья
Ваших мудрых, солнечных ладоней...

* * *

Перезрелою плотью яблока,
Из-под кожи брызнувшим соком,
Затаенно и одиноко
Не себя – другого оплакала...

Как он скуп на слова – другой,
И ладони его как лед,
И в глазах у него – покой,
Но как жадно он воду пьет...

Он молчит, как в покос мужик:
Пот съедает до язв плеча,
Но улыбка в устах дрожит –
Как во тьме зажжена свеча.

Каждый шаг у него – крылат,
Но ладони в кулак сцепил,
С каждым встречным он молвит в лад,
Но слова как звенья в цепи.

Посмотрела: покой в очах,
Каждый шаг у него – полет,
Тихим солнцем горит свеча,
Но как жадно он воду пьет.

* * *

В мой сон пришел с молодым лицом,
Снял с руки и надел кольцо...
Игом моим и горем моим
Стал наяву. На том стоим!

Думаешь, я не ждала беды,
Думаешь, мне не дано понять:
В этом саду через жизнь плоды –
Жизнь не прошла, и не надо ждать.

Позже, потом, когда нас с тобой
Просто не будет – уйдем вперед,
Сын, ослепительно молодой,
Весь урожай в саду соберет.

И в чей-то ясный, счастливый сон,
Где его ждут, не смыкая глаз,
Сын мой, с твоим молодым лицом,
Перешагнет и окликнет нас.



Светлая радость ударит осенним дождем –
Светлая радость, но как беспокойны сравненья...
Спи, мой любимый, мы новые звезды зажжем,
Тихо отпразднуем час твоего пробужденья.

Вот молоко, вот веселый морковный пирог,
Вот тишина за окном шелестит и стрекочет...
Спи, мой любимый, не бойся дыхания ночи:
Светлая радость ступает к тебе на порог.

Спи, мой любимый, а я открываю тетрадь:
Мне несказанную радость учить до рассвета...
Я научусь и сравненьям ее, и приметам,
Спи, а проснешься – стихи тебе стану читать.

Письмо тебе из 1666 года

Лебединого крику оставляю тебе для песни,
Громового стука и ласточкина летанья –
для были,
Целебных ключей вдоль звонкой реки –
напейся,
Крещенских морозов,
ночей и снегов – изобилье...

Свою самую светлую думу тебе оставляю –
Твое изголовье она никогда не покинет,
К тихим ветрам самых чистых дождей добавлю –
Они тебе скажут мое крылатое имя...

Оставляю тебе тишину погостов старинных:
Каждый пригорок отмечен сосною рослой,
А над моим полыхает огонь рябины,
И светят все те же, ты видишь, все те же звезды...

* * *

В меня стреляли на большой охоте
Из тысячи стволов – наверняка,
И ни одна не дрогнула рука:
Хотелось всем отведать птичьей плоти.

А я была душой того стрелка,
Который знал, как убивать в полете:
Он подстрелил меня издалика
И мертвым иал на той большой охоте.

* * *

«Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас».

Н. Гумилев

До слова, до бессмертья, до начала
Молчание дымилось на устах,
Я пред тобою как сестра чиста:
Я никогда так ясно не звучала.

Столетье пронесла бесценный груз
Тебе назначенного целованья,
И не было другой, священной дани,
Которой был достоин наш союз.

Молчания остался краткий миг,
А дальше все должно осуществиться,
Но парк Тригорский все звучит и длится:
Не стать бы мне одной из этих лип!

А кто кого из нас от смерти спас –
Нам не дано узнать: мы не готовы...
Я или ты – кто принял за оковы
Мечты, связующие нас?

* * *

Меня в твоих стихах не отыскать?
Как майская крапива вдоль забора,
Взошла, расту – не опускаю взора:
Корнями в стол твой и твою тетрадь.

На ровном поле самопустоты
Я тот озноб, что жизнью был и будет,
Все, чем богат, не замечаешь ты:
Я горький хлеб твоих голодных буден.

И собственному слову вопреки
Моей музы́ке ты всегда покорен:
Взошла, расту и ни о чем не спорю,
И мной они живут – твои стихи!

* * *

Тригорский парк усилием вершин
Крик немоты отбрасывает в небо...
Старинный, переполненный кувшин
Разбит луне бесстрастной на потребу...

И хлынули стихи, как ветра гул,
И заструились по глухим аллеям...
Навстречу парк из темноты шагнул:
Забытой нежностью его согреют.

Слова вплетая в корни и стволы
Высоких лип, застывших в изумленье,
Я раздавала щедрые дары...
Но вас минует легкий дар забвенья.

Вас будет настигать тревожный сон:
В нем женщина уходит в день вчерашний,
Стволы смыкаются со всех сторон,
И отпустить ее на волю страшно...

Ни рук поднять, ни глаз не отвести:
Она уходит в вашу жизнь стихами...
И ветра гул весь век не затихает,
И вам себя от встречи не спасти.

Михайловское

Как плавен переход:
За озером, у края,
 Темнеет лес.
Над кронами паренье
 Спокойных птиц
С неярким опереньем.
Потом зари полоска золотая.
 Потом строка.
 Потом стихотворенье.

* * *

С холмов стекали мощные слова,
В траве свивая сумрачные гнезда,
И даль небес пронизывали звезды,
И ярче всех одна звезда была.

Других примет стихам не отыскать:
Спасая жизнь предчувствием рассвета,
Разматывали нить времен поэты,
Все остальные продолжали спать.

Околица Михайловского

(первый портрет Пушкина)

Необходимость сердца — знать,
Что эта даль всегда открыта
Для взора, песни и молитвы:
Ей можно душу рассказать.

Но не дано осуществить
Молчание на этой ноте:
Душа твоя звенит напротив,
И нечем душу защитить...

Необходимость сердца — знать,
Что эта даль всегда открыта,
Что душу можно рассказать
Молчаньем, песней и молитвой.

Дом в Михайловском (второй портрет Пушкина)

Закрыв глаза, смотрела в даль зеркал
И видела себя в чужом обличье:
Заветный перстень серебром мерцал,
Фрак, чуть потертый, но еще приличный,
Очеркивал изящный силуэт,
И рук крылатых сильное течение
Отбрасывало яростные тени –
Навстречу пристально смотрел Поэт.
Мы жили в этих зеркалах вдвоем –
Мы жили, совмещая два столетья,
И не было ни суеты, ни смерти:
Нас поглощал старинный водоем...
Все в зеркалах струилось за предел
Судеб и тайн, отчаянья и сказок:
Поэт оттуда в даль мою глядел –
Я не окликнула его ни разу,
И он меня ни разу не позвал –
Слова для нас утратили значенье...
Но тех зеркал чарующий овал,
Но времени нездешнее течение,
Но вечность там, где даже вдоха нет,
Но эти сны, в которых было странно
Смотреть, как слово добывал Поэт:
Полжизни прожила за черной рамой,
Цедила этот жадный, вечный свет
И знала цену мудрого обмана...

* * *

Холодные белые залы,
Мазурки призывный звук...
А если и я там бывала,
Была украшением бала,
Привычно входила в круг...

Откуда же память надежно
Хранит второе столетье
Мазурки полет невозможный
И руку на эполете...

* * *

С. Гейченко

Все обнажилось до предела:
Все связи, переходы, тайны,
И вяза жилистое тело
Полно свободы изначальной,

Где мускулов видна работа,
Струной натянутые корни
И направление полета
Стареющей, но сильной кроны.

Листва до срока облетела,
И обнажилась радость плоти:
Могучее, литое тело,
Где жила каждая в работе!

Тихая улица, дом в глубине
Сада глухого,
Старый привратник навстречу ко мне
Вышел без слова.

В вещей ладони лежали ключи,
Каждый – подарок,
Старых часов отрыдали в ночи
Сорок ударов.

Старый привратник проходит вперед,
Дверь отворяет,
Тихо доносится: кто-то поет,
Кто-то играет...

Старые стены дышали теплом,
В доме не спали,
Старые тени за снежным стеклом
В сны уплывали...

Жадно блестели во тьме зеркала,
Шла я по дому,
Я здесь однажды как будто была,
Странно знаком мне

Старых часов настигающий бег,
Тайна портретов,
Жил здесь когда-то родной человек,
Помню об этом...

Старый привратник мне дверь отворял
С низким поклоном,
И до рассвета был слышен рояль
В комнатах дома...

* * *

Падала в ноги знакомым соснам,
Жадно полдень нила под ними...
Мир как будто вчера лишь создан:
Нет еще ни греха, ни имени.

Солнце льется в саду заповедном,
И дышат правдой росные травы...
Каждой букашки напев победный
Вливается в общую песню славы.

Тихая милость ласкает память,
И, погружаясь в воды все глубже,
Не надо было уметь и плавать:
Здесь вечно жив и кому-то нужен.

Какая радость: иду нагая...
Кому здесь видеть? А и заметят,
Одно есть счастье: стыда не знаю,
И каждый мой палец как в небе месяц!



Затаилась на миг на далекой окраине
Своей тихой души... Рожь сомкнулась могучая...
Лишь слепец проходящий про Авеля с Канном
Хриплым голосом древнюю песню измучивал.

Тихо мама прошла и, молитвы не зная,
Все искала в стихах моих небу созвучное.
И, любовью ко мне свою душу пытая,
По складам назвала имя самое лучшее...

Приходил мой любимый... Меня не заметил:
Пили чай, я его собирала в дорогу...
Он о чем-то спросил – сам себе и ответил
И сквозь полдень кому-то кивнул от порога.

День июльский сторал в медно-линовом
пламени,
Я летела сквозь рожь в синеву ненасытную...
Лишь слепец с его песней про Авеля с Канном
Муку вечную – вечную радость испытывал...

Июльский день

Сочился свет из трав, камней, цветов,
Из детской рубашонки на заборе,
Сияние берез на косогоре
Слепило, как сияние снегов.

Соединились Запад и Восток,
Душа и полдень, космос вытек в розы...
И, золотой стрелой пронзив висок,
День уходил, пронзительно высок,
И руки целовали мне стрекозы...

* * *

Как словарь, открывали меня этим летом
Травы, яблоки, ветры и певчие птицы:
Я дышала покоем на каждой странице,
Было каждое слово надеждой согрето...

Мы учили друг друга забытым названиям,
Старым тайнам, молчанью на разных наречьях,
Каждый день я достойна была этой встречи —
Я была самым поздним и полным изданьем.

В каждом звуке любви постигала приметы,
Понимала неясное, слышала дали...
Травы, яблоки, певчие птицы и ветры
Этим летом меня, как себя, понимали...

Сумерки в лесу

Упали сумерки на лес
Так низко, что накрыли травы,
Знакомый куст глядит лукаво,
И сразу все полно чудес.

Бросаю вдаль тревожный крик –
Увязнут в мхах его осколки,
И чудно вздыбленные елки
Мохнатый высунут язык.

Все дразнится, лукавит, врест,
Дорога расползлась, петляя,
Сосны согнутой занятая
Сосною быть иерестает.

А сад был там, я это помню,
Но снялся с места и ушел,
Дом, так недавно жизни полный,
Сейчас незряч и оглушен...

Я и сама сейчас исчезну –
Шагну и кану. Страх какой!
Скорей бы ночь, и с нею трезвость,
И полный темноты покой.

* * *

Ночь смешала запахи и страхи,
Шорохи, дыханье чутких трав...
За рекой в беспамятстве собаки
Вдоль деревни гнали ряд октав...

Каждой потой ночь была знакома:
Тайны смертный жар дышал в уста,
И луны незрячий лик над домом
Яблоком гигантским вырастал.

Сны рождались из глухих предчувствий,
Из глубин покинутого дня...
С невозможной нежностью и грустью
Ночь держала за руку меня.

* * *

Закат зажег огонь сиреневый —
Густая, сумрачная музыка,
Как птица в гулком оперении,
Металась в небе вечным узником.

Лиловое крыло и синее
Перекрывали блики алые...
Все выше, непереносимее
Взмывала музыка усталая.

И в этом яростном звучании,
Где чистые цвета горели,
Все отрешенней, все печальнее
Звенели бубенцы сиреней.

И дух, не побежденный временем,
Вдруг воплотился в этом пламени:
Он был действительно сиреневым,
И крылья были чуть оплавлены...

* * *

Да я ли не помню начало дня:
Синий ветер запряг коня
На вершине могучей кроны,
И, листвою опалив меня,
Легкий всадник поводья тронул...

Да я ли не помню, что было потом:
Конь рвал удила окровавленным ртом,
Рябины жаркие нити
На ветру вышивали крестом
Живой рисунок событий.

И только не помню, как падал дуб,
Какое слово слетело с губ
Желудем перезрелым...
И помню: горло ста тысяч труб
Мощное «ре» взревело.

И началось: не гром – набат,
Молнии били прицельно в сад,
Из тучи, как из бойницы,
Лучом последним пронзил закат
Белую плоть страницы...

* * *

Ручьи вскипали от избытка сил,
Лупила почки молодая зелень,
Старухи собирали вдоль апреля
Мать-мачеху, солодку, девясил.

Разматывали дни свое рядно,
И той же мерой ночи убывали,
На свете даже чудеса бывали:
Цвели заборы с садом заодно.

Откуда-то явился птичий крик,
Деревьев корни жадно пили воду,
И чтобы зря не огорчать природу,
Решился в зиму помирать старик.

* * *

Бесстрастные сосны
Над гладью священной воды,
Оставленный посох,
В песке неподвижном следы
Вдоль края обрыва,
И дальше оборвана нить...
Пригрезилось? Было?
Хочу – не умею забыть.



Июль — месяц великих трав,
Когда, себя припоминая
Всей бесконечностью октав,
Трава, в рост человека встав,
До хруста землю приминает.

Нет мощи более земной,
В которой столько скрытой силы:
Луг, напоенный, заливной,
Где травы в рост стоят стеной,
С восторгом мужики косили.

Взмах — и коса пошла валить
Тугие струн трав пахучих:
Так, чтоб рубяху просолить,
Работой руки разозлить
И душу радостью измучить.

* * *

На мокрой ленте серого асфальта
Живой лягушки чуткий пероглиф...
Как будто кистью и китайской тушью
Весь день вчерашний кто-то здесь работал
И создал этот маленький шедевр...

* * *

Тихих трав, озаренных обыденным солнцем,
истома,
Золотая вода с золотыми над ней облаками...
Ясный вечер июльский, последней травинкой
знакомый,
Не кончался веками.

Чуть румянятся яблоки, сны зарождаются рядом,
И за озером тянется песни серебряной нить...
В такт бы жить и дышать – ничего-то иного
не надо,
Да не вспомнишь, чего не забыть.

Озадаченный лес опрокинут в прогретую воду,
На песчаной тропинке сосновый, пленяющий
дух...
И растет обреченно звенящая память свободы,
И до крыл вырастает... Да вечер июльский
потух.

* * *

Татьяне Курманаевской

Минет осень, и старые ветры
Отшумят ненасытно и властно,
И с последнею песней неспетой
Будет жизнь навсегда не согласна.

Но в тоске нареченного мига
На последней странице вселенной
Вдруг откроется вечная книга:
Журавли пролетят над деревней.

И повеет грядущей отрадой,
И забытое небо приснится...
Журавлям обретенного сада
Ты научишься петь и молиться.

Никого не спасают надежды,
Как сирени, прекрасны разлуки...
Этот май, сумасшедший и нежный,
Все целует озябшие руки...

* * *

Давно мы не улавливаем суть
Орнаментов, сплетений линий вещей,
Но памяти волну сквозь нас несут
И заставляют в даль глядеться вещи.

Узорный мир старинного платка
И сказка прялки – мудрая, резная...
Но только те, кто резал и кто ткал,
Уже значение линии не знали...

Такая даль... Еще был мир как воск:
Во всем дышало самое начало...
Но кто-то первый линию нанес,
И линия бессмертье означала.

* * *

Сухие, темные подглазья,
Кошачий пламень жадных глаз:
Девчонка бешеная – Азия –
Через века в крови спаслась.

Беда ли обернулась праздником,
Иль кто-то намертво рискнул,
Но четкий контур древней Азии
Читается в разбеге скул.

Наворожили, напроказили,
Запутали и всех, и все:
Горячечный напиток Азии
В крови потомкам донесем!

* * *

В чужих домах хозяйка будто бы,
На лето гостя, постоялица?
Я эту нить давно распутала:
Я только вечная скиталица.

Морями, небом или посуху,
Моим путям конец известен –
Вхожу: найдется место посуху?
Ударю в пол – польется песня.

Заслушаются, запечалются,
Пока варю обед да ужин...
Я только вечная скиталица –
Лишь посох мне для счастья нужен.

Моему камню

Королева перстня с этим камнем
Ни одна на свете не желала:
Красотою не был он прославлен
И к тому же стоил слишком мало.

В недрах разъяренного вулкана
Был рожден из пламени и лавы...
Темные цвета обсидиана
Не сулили ни любви, ни славы.

Но от века ему цену знали
Ведьмы и колдуньи всех паречий:
По обсидиану узнавали
Женщину, идущую навстречу.

Этот камень был ее приметой:
Узенький браслет сжигал запястье...
Женщин этих странные советы
Не сулили ни любви, ни власти.

На кострах сжигали их высоких,
След босой ступни крестили рьяно,
И поэты посвящали строки
Ведьме с перстнем из обсидиана.

Королева ни одна на свете
Камня этого желать не смела...
Тайно короли мечтали встретить
Ту, что так бесстрашно им владела...

Ломбард

Я обмануть нужду сюда зашла
И встала в очередь за дамою старой,
Которая не выглядит усталой,
И мне не ясно, как она жила,

Какие платья в юности носила,
Какие серьги кто-то ей дарил,
Кого она когда-то разорила
И кто ее под старость разорил...

Мне было время погадать об этом,
Пока сдавала очередь, как встарь:
Колечки, броши, царские монеты,
Старинные кулоны и браслеты,
Меха, алмазы, серебро, хрусталь...

Мы продвигались медленно и чинно,
Мне руку жег дешевенький браслет,
И было почему-то так обидно,
Что нет фамильных жемчугов старинных,
Алмазов, бирюзы и яшмы нет.

Моя соседка подошла к окошку
И, слова лишнего не говоря,
Сняла с руки наморщенной и жесткой
Потертый, тусклый перстенок неброский
И получила тридцать три рубля.

Все оказалось проще и печальней:
Таких же денег стоил мой браслет...
Мы небогаты обе неслучайно,
Но ей спасать свой перстень обручальный,
А у меня его, по счастью, нет.

Я уходила, думая об этом,
И было мне опять себя не жаль:
Зачем мне эти звонкие браслеты,
Колечки, броши, царские монеты,
Меха, алмазы, серебро, хрусталь...

* * *

Стук. До порога шаг –
Пропасть перемахнуть...
Птицей в ноги душа –
Настежь дверь распахнуть...

Там, за порогом, тьма:
«Кто ты? Гості́ в дому!»
Ах, не сойти с ума –
Открыла, да не тому.

Ночь коротка – не гнать:
«Входи», – не тому кричу.
«Куда ты шел?» – «Умирать.
Но ты здесь – я жить хочу!»



Желанный дом мы выстроим с тобой:
Все камни на себе переносила,
И глину для печей сама месила,
И под гору ходила за водой.

Не узнаю крылатых рук своих –
В них дровосека жилистая сила...
О помощи ни разу не просила –
Я знала: силы хватит на двоих.

Вставали стены, и легли стропила,
И меньше чем на век осталось дела,
Никто не верил – выстроить сумела:
Вчера в крыльцо последний гвоздь забила.

И можно жить: твой стол, твоя скамья
И лампа под зеленым абажуром,
В ногах твоих лежит медвежья шкура –
Медведя добывала тоже я...

* * *

Вся жизнь – сеанс. И холст как неживой,
И краски остывают от бессилья...
Художник и модель – кто же осилит?
И холст погиб от раны пожевой.

Теперь могу его вознаградить –
Снимаю маску. Но удар был точен:
Как тонкий шрам болит и кровоточит!
Да он хотел и мог меня убить!

* * *

Билась над тайной любви, но она не моя:
Сколько людей эту искру в меня обронили,
Те, кто ушли, в моей памяти что-то таят,
Те, кто придут, в моей памяти что-то забыли...

Страшен во мне родовой, оглушающий груз:
Птицей любовь под ним бьется – мудра,
но незряча...
Страшно, что в ком-то в столетях иных отзовусь
Испепеляющим, жадным, пленительным плачем...

* * *

Радость, боль, чистый лист и песня –
По-другому любви не знала.
Потянулась, лечу... «Разбейся!» –
Вслед себе я сама сказала.

Остальное простого проще:
С высоты, где дышать не в силах, –
Камнем вниз. И всю ночь над рощей
Вслед себе сама голосила.

* * *

Я дерево на берегу пруда,
А ты мое слепое отраженье...
Тебе со мной не разделить труда:
Ветвей и листьев чуткое движенье
На глубине не сможешь сохранить –
В твоём покое не дано очнуться...
Одних корней мы будем соки пить
И к разным небесам тянуться.

* * *

Наследник мой! Мой мальчик светлоликий,
Так обнищала – в пору воровать:
Где стекла бить, где небылицы врать –
И лишь тебя в ночи я не окликну.

Как жаркий факел поджигает пруд –
Так твое имя на устах погасло...
Не потому ли сразу небо ясно,
Что все до синевы черно вокруг...

И осветив не пустоту – свободу,
Во мне звездой восходит нищета:
Мне стекла бить – мне дребезги считать,
И жаркий факел не насытил воду.

* * *

Год прошел на одном дыханье:
Умирала – сейчас не верю,
До корней проросла стихами,
Руки сильные, как деревья,
Тени легкие в ночь бросают –
Словно роща звенит, смеется...
И опять надежда спасает:
Год прошел, а жизнь остается!



Тишина звенит бубенцами дня,
За околицей даль распахнута...
В эту даль скорей увези меня –
Или конь устал после пахоты?

Или нет узды – младший брат унес
На другом коне гнать в полях стада...
Слово молвить мне – этот бы увез,
Но страшусь молвы и боюсь суда.

Он твой младший брат – да печали нет:
Под окошками ночь простаивал,
Слова не сказал – взгляда ждал в ответ,
А каким меня достаивал!

Находила я на окне цветы,
Находила я ленты с бусами...
Отдохнул ли конь и готов ли ты?
Что глаза твои стали грустными?

Увези меня, пока младший брат
На другом коне скачет бешено,
Увези меня, будешь сам не рад,
Когда в поле им буду встречена.

Тишина звенит бубенцами дня,
За околицей даль распахнута...
В эту даль скорей увези меня...
Притомился конь после пахоты.

* * *

От любви остается слово:
Обернувшись священной птицей,
В черный час защитить готово –
Опускается на страницу.

Выше, чище меня, мудрее
И всегда доказать готово:
Все утратив – я всем владею, –
От любви остается слово.



Две птицы под моим окном
Все об одном, все об одном...
Поют о том, что где-то там
Есть темноликий океан,
Всегда он прав, всегда могуч –
Пьют из него громады туч...
А в глубине, на самом дне,
В чертогах сказочных, хрустальных
Живет печальный князь опальный
С самим собой наедине...
И, говорят, он видит сны,
И сон один украли крабы –
Всегда и в этот раз не правы,
Но мне их замыслы ясны...
Знакомый крабам кашалот
Уговорил английский флот:
Сон погрузили за неделю,
А князю донесли – не верит,
Что венций сон ко мне плывет...
Ветра, туманы – долгий год
Танцился сон дорогой дальней...
Однажды заплывает в спальню
Английский тощий пароход...
И в тот же час приснилось мне:
У князя я в гостях,
Мои портреты на стене
Похожие висят!..

Влюблен? Влюблен... Влюблен?! Влюблен!
О, милый, милый, князь...
Я под окном сажаю клен,
Сажаю дуб и вяз!
А океан давно удрал,
Усох, утек, уплыл.
И там, где он как будто был,
Растет большой коралл...
Варю обед – пять перемен,
Стираю, глажу, тру...
И мне, большой воды взамен,
Сам князь копает пруд.
Растет мой дуб, растет мой вяз,
И длится жизнь, как сон:
Кораллы дарит старый князь...
Влюблен? Влюблен... Влюблен!

Воспоминание

Змеилась плеть в руках у хана,
Усменка в глубь лица ползла...
Недвижно, молча, бездыханно
Я плюнула ему в глаза.

Соломої вспыхнула деревня,
Крик бабій небо приподнял...
И хан, зверея злобой древней,
Плеть в бешеної руке унял.

И, погасив глаза прищуром,
Не крикнул – прошептал: «Коня...»
И сильный конь, покрытый шкурой
Зверинной, вскачь понес меня,

А вслед за мной бескрайним полем
Хан бешеной стрелой летел...
Я знала: мы еще поспорим –
Он снора этого хотел.

Настигнет – лучше нет удачи
За его долгий, странный век...
Уйду – он в ярости заплачет:
Как зверь, как хан, как человек...

* * *

В закатную воду, но гребню меж светом и тенью,
Неслышнно вошла... И нагое, звенящее тело
Явило и такт, и крылатую легкость уменья:
Звезды отраженной ни яви, ни сна не задела.

Я тихо плыла в успокоенных, солнечных водах,
Где радость земная дарила небесную радость...
Лишь вечный вопрос – мой двойник: что такое
свобода? –
Лишал меня сил – я с ним ни на миг
не рассталась.

На вдохе сомкнулись две бездны, две сутн –
глубины,
На выдохе стала я птицей, над бездною парящей...
Свобода и я во мгновенье слились воедино –
О, истинно, истинно: идущий – он и обрящет
Свободу – тот выбор по гребню меж светом и
тенью,
Две бездны, две радости –
вечное длится слиянье...
Вдох – выдох – крылатую легкость уменья:
Войти и поплыть. И звезды не нарушить слиянье.

* * *

Шелк небес распорот надвое
Росчерком звезды без имени...
Меж ладоней звезды падают,
Освещая ночи синие.

Над равнинами туманными
Вечной тайною пленительной
Вновь из бездны в бездну канула
На лету звезда стремительно.

Час моего рождения

В середине века, ровно
В полночь, вьюгой задыхаясь,
Я, на звезды натыкаясь,
Этот шар земной, огромный
В первый раз поцеловала
И заплакала: я – дома.
Ровно в середине века
В полночь, вьюга тихо злилась,
И две створки у ореха –
Я и век – соединились.
Мною начиналась тайна
Новой половины века,
Я вернулась из скитаний
Умудренным человеком.

1 января 1950 г.

* * *

Ощущение близкого гулко-го чуда,
И опять беру слишком высокую ноту,
И всю жизнь стерегу в себе память полета,
И живой не всегда возвращаюсь оттуда...

* * *

Минул день, и особенной радости нет,
Но я видела птицы полет,
Но я долго и жадно смотрела ей вслед,
И на тысячу лет вперед
Я спокойна: и саду еще цвести,
И по травам дано бродить.
И смогу виновато сказать: прости,
И меня захотят простить.

На перекрестке дара и судьбы
Однажды, белой ночью, в час невнятный,
Крылатый новстречался человек...

Он, как и я, был полон ожиданьем,
Хотя и знал давно свою дорогу.
А я брела окольною тропой,
Ориентиров вечных не теряя,
И встречи нам ничто не обещало...
Но две звезды уже дышали в небе,
И два огня плясали за рекой.
И песни две сплелись в единый голос,
И тропы наши с ним не разошлись...
Два самых одиноких существа во всей вселенной,
Мы не смели друг другу рук озябших протянуть,
Хотя и билось между нами пламя:
Живой огонь, как пес, кидался в ноги,
Лизал в плечо и норовил в уста...
Но сквозняком тянуло невозможным
Из всех далеких уголков вселенной...
Он без меня погибнет – это ясно.
Я напишу стихи – жива останусь,
А может, он спасен, а я погибла?
Так и стоим: и разойтись не смеем,
И рук друг другу нам не протянуть...
О чем мне Господа просить – не знаю,
И в этом я опять грешнее всех.

* * *

В золотую воронку ночи
Проскользнула звезда желанья...
Лето кануло между строчек
Тихой повести без названья.

Сто подарков, сто встреч, сто звонов
Колокольной, облитой светом...
Сто, вдогонку, земных поклонов
Я тебе отсчитала, лето!

* * *

Мой старый монах, золотое, веселое сердце
Державший открытым для всех, кто убог
и бессилен,

С поспешным «Аминь» мне распахивал
низкую дверцу,
И я в старой келье, случалось, подолгу гостила...

С рассветом воды родниковой несла от колодца
И юной росой омывала глаза и ладони...

Мой старый монах принадеет и так жадно
нашьется:
И капли единой на солнечный пол не обронит...

И вечных молитв медвяная, целебная сладость
В крылатых устах непрерывным потоком
струилась,

Мой старый монах, забывая и сон, и усталость,
Просил для меня бесконечную, велию
милость...

И падали звезды. И травы в почи шелестели,
И яблонн ветки с плодами до звезд возносили.
Мой старый монах, мы друг другу в глаза
не глядели...

И радость в ладонях моих остывала бессильно.

* * *

Я видела совесть свою, стоящую в храме...
О, как непохожи мы были в тот вечер июля...
Как просто и радостно Господа было мне славить:
Я пела ему, до небес вознося: Аллилуйя!

А совесть дымилась в углу, на злодейку похожа,
Хвалебная песня ей явно была не по силам,
Она, чтобы выжить, рыдала: «Помилуй мя,
Боже»...
И плакала кровушка – страшно прощенья
просила...

Я пела хвалу. Я была не грешнее всех прочих –
Девчонка молилась с каким-то крылатым
смиреньем
О страшных грехах... «Их и знать-то Господь
не захочет», –
Подумала я, когда встала она на колени...

Все выше мой голос – она же вот-вот изнеможет...
Я Господа славил в день нареченный июля,
А совесть, рыдая, просила:
«Помилуй мя, Боже».
И я, заглушая ее, выше неба кричу:
«Аллилуйя»...

* * *

Черный лебедь и ветры дальние,
Обмелела тихая пристань...
Песни радостней – сны печальнее,
И нельзя ближе, чем на выстрел.

Из руки не кормлю – не мучаю:
Тихо плавает в сонных водах
Грозовой, затаенной тучею
В золотых июльских погодах...

Черный лебедь, а крылья – белые...
Этой тайны другим не ведать.
И, спасая себя, запела я,
И ответил мне черный лебедь...

Золотой огонь оперения
Заливает тихую пристань...
Мы стоим на краю мгновения,
Когда жизнь нам спасает выстрел...

Сны?..

Опять ухожу за тобой по дорогам,
Которым названия не знаю.
Приюты, разбитые храмы, остроги,
И снег никогда не растает...

Куда мы уходим, попутчик мой строгий,
И что там, за тем поворотом?
Приюты, разбитые храмы, остроги,
И тяжкая ждет нас работа...

Откуда взялись этот свет, эта ясность,
И снег на губах тает влагой...
Неужто дошли, мой попутчик прекрасный,
Мой спутник, мой солнечный ангел?

* * *

Ах ты, родина, земля обетованная:
Каждая березонька в слезах...
И за что такая доля, Богом данная?
А в ответ клин журавлиный в небесах.

Утро Светлого Христова Воскресения,
Как ладонь Господня ласка журавлей
И пасхальное, ликующее пение
Над измученной бескрайностью полей...

И Воистину Воскресе загорается
Словно свеченька во тьме далеких лет...
Ах ты, родина, уродина, красавица –
И страшней тебя, и лучше тебя нет.

Ах ты, родина, земля обетованная,
Каждая березонька в крови.
И за что такая доля, Богом данная?
А в ответ в озябшем небе журавли.

1 мая 1994 г.



И хаос торжествует. Без причин
Так не бывает... Тонкое безмолвие
Бескрылых уст. Надтреснутый кувшин,
И смрадно пахнет забродившей кровью
С молоденьких страниц вчерашних книг:
Российских типографий вечный запах...
Ладонь, еще ладонь – Восток и Запад, –
Живой души не отыскать тайник.

И торжествует сумрачная речь,
Похожая на терпкие закаты:
Вдогонку серебра рассыпав злато,
Все разменять и только медь сберечь,
И слово возвращается обратно.
Бьют родники шальные вдоль болот –
Занлеванная совесть рек подземных,
И тянет кровью – запах неизменный
Российских, родниковых, слезных вод...

И на быков похожие дубы
Корнями попирают прах столетий,
И пахнут кровью дни и те, и эти,
И время метит солнечные лбы
Клеймом российским – пропуском в бессмертье.

И вещей сон. И душенька мертва –
С одним крылом, прибитым к поднебесью...
И тощий жаворонок правит песню,
И пахнет кровью от полночных трав...

* * *

И отчье слово в чужих, неумелых ладонях
Как каменный выдох, которым печаянно
птицу убили...

Всю ночь за окном грызли землю крылатые кони,
И ласточки в гривах дремучих бесстрашно
птенцов выводили...

Подобье старух, до озноба истраченных жизнью,
Вдоль черных заборов закатное солнце сосали...
А если из старого посоха ветка зеленая брызнет,
Ее, для грядущей зимы, на дрова занасали.

И травы не знали, кого укрывают туманы
И кто за веревочку водит ослепшее солнце...
Где некому каяться – хлеб не вкуснее обмана,
Лишь птице убитой поется, поется, поется...

И отчье слово в чужих, неумелых ладонях
Как каменный выдох, которым печаянно
птицу убили...

И век за окном грызли землю крылатые кони,
И ласточки в гривах дремучих бесстрашно
птенцов выводили.

Даниилу Андрееву

Слышу, слышу озабоченно
Ровный гул и лязг железа...
Там, за облачной обочинной,
Быются всадники над бездною.

Каждый вздох мой, слово каждое –
Все для них дороже злата...
Десять тысяч – безобразные,
Трое – легких и крылатых.

День и ночь бои неравные...
Эти трое – вспышка света...
Десять тысяч обезглавлены,
Да тронм победы нету...

Слышу, слышу рать нездешнюю
От рассвета до рассвета,
Озаряет тьму кременную
Золотая вспышка света.

Страна – сведенный злобою кулак:
Не разогнуть немеющие пальцы.
И мы, еще вчера неандертальцы,
Не можем спину распрямить никак...

А здесь Великопостные Часы,
Храм еле жив (поруган не бывает),
И непонятно: вправду ль понимаю
Язык непостижимой красоты...

Дух целомудрия прошу опять,
Все легче тело и поклоны чаще...
И только это вижу настоящим:
Отнимут все, а Духа не отнять!

Снега, снега... Мир саваном одет,
Не различить дорог во свете белом.
Я третий час читаю неумело...
Шестой, девятый – все еще грядет...

* * *

Многопетое имя Твое
В час разлуки во мне не угасло...
Хор чужой так бесстыдно поет,
Так прекрасно...

Век разлуки иссякнет сейчас:
Хор звучит все согласней, все чуже...
Как поют! И как он мне не нужен –
Изжила этот час!

Жар побега на гнойном стволе,
Память смертная, отчее слово...
По складам, по пропеть я готова
Многонетое имя Твое...

* * *

Отцу Феодору

В глубине России – в глубине души,
Среди грязи, хаоса и ужаса
Каждый день обедню батюшка служил
Со смиренным, незаметным мужеством.

Двое нас, почти случайных прихожан,
На пригорке у Василия Великого...
Чуткий, радостный, улётный¹, древний храм –
Как из собственной души меня окликнули...

На сто верст в округе черный день,
Все дороги в круг единый замкнуты...
Над уныньем полумертвых деревень
Долгими дождями небо заткано...

Задохнешься смертною тоской:
Как и жизнь здесь теплится – неведомо...
Но опять в тиши полупустой
Батюшка кого-то исповедовал.

Мало нас, почти случайных прихожан,
На пригорке у Василия Великого.
Чуткий, радостный, улётный, древний храм –
Как из собственной души меня окликнули...

¹ Улётный (вологодское) – уютный, маленький, ладный, аккуратный.

* * *

Смывала Русь грехи свои
В святой купели...
Кого не удалось сгноить,
Недружно пели.

И «Верую», и «Отче наш» –
И верил каждый:
Стояли у причастных чаш
С великой жаждой.

Стояли без пенужных слов:
На миг едины,
Но сотканное миром зло
Непобедимо...

Как скуден плач молитв моих
И рядом – тоже...
Кого не удалось сгноить,
Помилуй, Боже!..

* * *

Похожий на собаку протощённую¹;
Февраль промчался нежный, озабоченный...
От жизни только вздохом защищенные,
Тьмы почек трепетали вдоль обочины.

•

Март ослепил – другого не обещано,
И солнце бьется в окнах птицей пойманной...
Сломаем март, а там и Благовещение –
Дни потекут, бессмертием наполнены.

Взорвутся почки светоносной зеленью,
И дальних звезд достигнет новость вечная:
Опять апрель и тайна Воскресения,
И все мы этой тайною отмечены.

¹ Протощённый (вологодское) – очень тощий, худой, прозрачный от худобы.

* * *

Лампада осветила ночь мою,
И белый день безмолвный, как пустыня:
Я старых песен нынче не пою,
Как камни, песни старые остыли...
Лишь на немногих бредят письмеца,
Которые наощупь высекала...
И камень тверд – и я не иссякала:
И горы трепетали близ меня.
И солнце заливало каждый след,
И было ясно: далеко до Бога...
Теперь лампы негасимый свет,
Бог при дверях. И судная дорога..

* * *

Лик золотой в углу,
Светлый покой в очах...
Господи, не солгу
У Твоего плеча.

Все, что смогла, – спасла,
Все, чего нет, – найду,
Душу к Тебе несла,
Думала: не дойду.

Самым желанным снам
Не позволяла быть,
Всех, кто меня искал,
Пробовала забыть.

Гордость паче беды,
Мне ли того не знать.
Сердце сковали льды,
Господи, Ты не плачь...

* * *

Уже давно я не была
Так сказочно бедна:
Из всех нарядов – два крыла,
Как жемчуг, два больших зерна
На блюде у окна...

А в сердце песня тишины
И отлетевший плач,
И струны голоса – нежны...
Да мне завидовать должны:
Бедней меня – богач!

Мне говорят: не сеешь ты,
Мне говорят: не жнешь...
Как, говорят, умешь ты
Прожить на медный грош?

Я объясняла, как могла:
Я сказочно бедна –
Трудом дается тишина,
И на заказ не шить крыла.
И я не солгала.

* * *

Опять мне слышалась дальняя смутная весть:
В ней травы лелеют звериную ласку прибоя,
В ней жизнь настигает, колеблется, празднует, есть,
В ней строки и камни испытаны общей судьбою.

Без дела мой посох стоял две зимы и расцвел:
Забрызгала небо орешника юная зелень,
Коня вороного соседский мальчишка увел,
И мне только песня осталась в цветущем апреле.

Нет места живого на старой, бессонной земле,
И нет под рукой ни коня и ни чуткого древа...
Лишь камни сквозь ночь обреченно ответили мне
Моим виноватым, как сердцебиенье, напевом.

* * *

Начало и конец – вот все, что имеет значение...
Остальное, как сладим... Но жизнь –
отношение к смерти.

Сколько можешь – плывешь в этом мутном,
разбавленном времени,
Налетев на вопрос, на который никто не ответит...

Этот миг – это все? И за этим все было затеяно?
Уходить?! Но куда? И оглянись в поисках
места,
Где дыханием жизни бескрайнее поле засеяно,
Где душе среди звезд, как за отчим застольем, –
не тесно...

Как мне, Господи, трудно с собой, –
не поверишь, наверное:
Выходить на Твой голос и вязнуть в себе
до колена...
Славлю жизнь! Только Ты помоги до конца мне
уверовать:
Добывая свободу – бежать из постыдного плена.

* * *

Владимиру Соловьеву

Вместо хлеба камень добрых слов
Положили в чуткие ладони...
Голову склонила я в поклоне:
Не сыта – с наукой повезло.
Где вместо хлеба подавали слово –
Не уставала я благодарить,
Но с плачущими буду слезы лить –
Не знаю утешения другого.

* * *

Вся жизнь моя — от дельты до истока
Бурлацкий путь.
Отечество не ласково к пророкам,
И как-нибудь,
Перемогаясь с хлебушка на воду
В снегах зимы,
Поешь среди оглохшего народа —
Бог дал взаймы.

Так и тащусь от дельты до истока
Долги отдать...
Пророчества исполнятся до срока
От Азь до Ять.

Признание приходит в суете
Ненужных дел и не своих занятий,
За них таким, как я, так мало платят,
Уверены, что этим столько – хватит,
Что дар не оскудеет в нищете.

Признание приходит неспроста,
Но душу до глубин не потрясает:
Не жаркий хор похвал в пути спасает,
А тяжесть неизбежного креста.

* * *

Холод полета в огне мироздания:
У одиночества выросли крылья –
Звездной, крошечной, блистающей пыли
Шлейф за сознанием.

Миная пространство и время в полете,
Я во Вселенной себя отыскала:
Песни, в которых, как в доме, живете,
Вечность ласкала...

Зверя сомненья я сбросила с кожей:
У одиночества выросли крылья...
Каждое слово проверю на всхожесть,
Каждая песня сбудется былью.

Совет Сократа

Припомни все, что ведала душа,
Когда в пути сопутствовала Богу...
Недвижный полдень льется из ковша
Ручьем цикад, звенящих над дорогой.
Припомни путь на тысяче коней
Вослед крылатой, легкой колеснице,
Припомни в полдень, на вершине дней,
Вглядись в эти мелькающие спицы.
Нас память заставляет тосковать
О том, чему не знаем и названья:
Все сущее, что нам дано узнать,
Мы знали там. Мы все — припоминаешь...
И некрылатых душ на свете нет —
Все этот путь когда-то совершили,
Сократ не даст тебе плохой совет:
Однажды сделай страшное усилие,
Припомни все, что ведала душа,
Когда в пути сопутствовала Богу...
Недвижный полдень льется из ковша
Ручьем цикад, звенящих над дорогой...

* * *

По сообщениям Пиндара и Стесимброта,
Родители Гомера встретились только однажды:
Ни один обыватель не успел очнуться
для сплетни:

Сняли все – во всех городах и странах,
Где Гомеру еще предстоит родиться...
По сообщениям Пиндара и Стесимброта,
Родителями Гомера были река
Милет и нимфа Крефеида...

* * *

Забыла греческую речь,
А помнила. И с наслажденьем
Вступала в ритм ее весенний,
И в слово мысль могла облечь.

За Одиссеем не увлечь
Дитя, что не вкусило муки
Знать – и не помнить эти звуки:
Родную греческую речь.

Лишь тень свою чертили
Под моим окном угрюмо,
И без видимых усилий
Можно было жадно думать
О тревожном слове властном,
Что не уменчалось в строчку...
У двенадцатого часа
На дороге вдоль обочин
Появились чьи-то тени...
Капуцины – показалось...
Я не придавала значенья –
Слово не соприкасалось
С рифмой, что дышала страстно,
Не давая мне покоя...
В глубь двенадцатого часа
Вдоль обочины шли двое.
Да откуда здесь, сегодня
Капуцины? – странно очень...
Ночь веселой старой сводней
Беззастенчиво хохочет
Над моим пальным смятеньем,
Слово в строчку встало точно...
И, отбрасывая тени,
Капуцины в самом деле
Шли куда-то этой ночью!

Сотни ритмов наполняют пульс,
Сто потоков чьей-то вещей крови,
Как стихи, что помню наизусть,
В даль мою вливаются любовью.

Вот он, древний ужас мироздания, —
Все во мне: начала и концы,
Судьи, прорицатели, гонцы,
Лик вещей, утративших названья.

Хаос, смерч, смятение, свет и тень —
Вихрь вселенной у начала слова...
Но душа уже почти готова
Отделить от ночи синий день.

* * *

Далекний свет дорогу озарял:
Сквозь толщю тьмы, сквозь тесноту деревьев,
Сквозь черные сугробы января
Сочился свет полоскою под дверью.

Мой каждый шаг мне раздавался вслед,
Волною страха душу омывая...
Я шла одна сквозь почь... Одна? Не знаю.
Но к дому вывел этот дальний свет.

Деревья, посходившие с ума,
Бежали вслед и настигали дружно,
А я была добра и безоружна,
Но это знала только я сама.

Гнались, с размаха ветками хлестали,
Обидно бормотали вслед угрозы:
Поток неясной, мутной, зыбкой прозы –
Они за мной, как страхи, вырастали...

Сплетенье жил своих тащили корни,
И насмерть разбивались птичьи гнезда...
Но птицей обернуться было поздно:
Слова заклатья не дано мне вспомнить.

Бежали в гору – я изнемогала,
А роща настигала с диким храпом,
И дальний лес уже гудел и плакал
И каждой потой гнал меня к финалу...

Деревья, посходившие с ума,
Бежали вслед и настигали дружно,
А я была добра и безоружна,
Но это знала только я сама.

* * *

Последние в ночи огни –
Два рыжих пляса.
Луны серебряный магнит
И тот не спасся:
Слизнули от избытка сил –
Себе на память...
Все выше ярость возносил
Их рыжий пламень.
Два воспаленных языка
В бреду болезни,
Два насмерть раненных быка,
Две древних песни
И два голодных – не уйти –
Два волчьих зрака
Всегда, везде, в любом пути
Мне быют из мрака...

Если только возможен
О таком разговор:
Я хочу быть похожей
На Софийский собор.

Линный мудрая память,
В каждом куполе – взлет,
Ни отнять, ни прибавить:
Тиннина в нем поет.

Мощь, крылатая строгость,
Сути всей – не объять,
Если это суровость –
Нежным что мне назвать?

У начала России
Встреча с детской мечтой:
Вологодской Софии
Стать бы младшей сестрой...

Словно чудо возможно –
Я мечтаю с тех пор
Стать однажды похожей
На Софийский собор.

Ольга...

Имени этому времени столько,

Сколько звону колокольному:

Ольга...

Вдаль, над простором бескрайним:

Ольга...

Дорогой прямой и окольной:

Ольга...

Нотой высокою и печальною:

Ольга...

На руки голову русую,

Плачь, а о чем, все поймется когда-то...

Самую нежную, самую грустную

Песню выводит голос набата:

Ольга...

Княгиня, избранница, милая,

Кто тебе дал твою силу великую,

В небо осеннее, хмурое, стылое

Звоном далеким тебя ли окликнули:

Ольга...



Крови ток – родовое дерево:
Реки-реченьки неразлучные...
Я не знала, что мне доверено
Столько разных людей в нонутчики.

Золотой ноток уносил во мне
Крик татарина, белоруса смех,
И чуваш с мордвой у меня в родне –
Остальных сейчас не припомню всех...

Ликовали все, как на празднике,
Но татарин в кулак косу русую...
Так что бабка, бывало, дразнится:
«Азиятчина белорусская...»

Но смешал – унес золотой поток
Реки-реченьки мои чистые...
И течет во мне строго на восток
Кровь соборная, голосистая...

Так что бабка мне: «Ах, не сглазить бы:
Настоящая баба русская!..»
А в старухе столетней Азия
Все татаринком юным буйствует.

* * *

Когда мой сон, как старый ствол, иссушен,
К утру лишился силы и тепла,
Когда оледенела гладь подушек,
А ночь водою мутной утекла,
Оставив утру все противоречья
И страх того, что будет впереди,
Как тяжело дню подставить снова плечи,
Толкнуть себя и приказать: «Иди!»

* * *

Прошелестели крылья в тишине,
И в зеркалах светлее стало вдвое:
То Ангел утешения ко мне
Спускается на облаке покоя...

Он мое имя знает, как свое,
Он тихим взглядом зажигает свечи,
Мы просидим за чаем долгий вечер
И тихо, на два голоса, споем...

* * *

Минута эта не отменит той,
Которая вслед вечности умчалась,
И в каждой нет конца, а есть начало,
И в каждой ты, и ты всегда другой.

Движению вечному предела нет,
Вослед себе взгляни минутой позже:
Уходит кто-то, на тебя похожий,
А третий, не похожий, смотрит вслед.

* * *

Стучу в дубовые врата –
Все в кружевном убранстве кованом...
В кровь кулачки, и ногти сломаны –
Стучу до самого утра.

И на рассвете дверца узкая
Открылась, словно взгляд вирищур,
И баба, несказанно русская,
Зевнула: «Видывали дур...»

И осеклась. Взглянула пристально,
Швырнула узелок к ногам:
«Переоденься – только выстиран
Лазоревый твой сарафан...»

Узнала – как огнем плеснула
Из-под крылатых, смуглых век...
И я вслед утру проскользнула
В семнадцатый ознобный век.



Так и сидит в соседней комнате
У чистого окна, как весть,
Старик, которого не помните,
Который в вашей жизни есть...

Вошла, прошу благословения,
Целую ломкие персты...
Я вся – восторг и неумение
Сжигать последние мосты.

Собой навечно озадачена,
И я пришла спросить: «Скажи...»
Но только плачется и плачется,
Да свет в лампадочке дрожит...

И взгляд ловлю я, как пророчество,
А он не поднимает век...
«Скажи, – прошу, – понять мне хочется...»
Вздохнул мой главный человек,

Встал рядом: «Помолись о Никоне...
Зачем пришла – поймешь потом...»
И осенил меня крестом –
Успел, когда меня окликнули...

Так и сидит в соседней комнате
У чистого окна, как весть,
Старик, которого не помните,
Который в вашей жизни есть...

* * *

На смолистых золотых ступенях
Присела в девять лет, как сон, пуглива,
Гортань щекочет солнечное ненье
И юной плоти первые приливы –
Все тянется за солнцем – тихо зреет...
Глаза закрыла, опустила руки:
Ласкает солнце, мучает, лелеет...
И со ступеней поднялась старухой.

* * *

В злые ночи, когда душит плоть,
Когда слову не проникнуть в душу,
Когда горло вытекло в подушку,
Чтобы криком вены не вспороть,

В эти ночи я с Тобой вдвоем,
Господи! Всех грешниц мира стою...
Помыслы свои, чем хочешь, смою –
Только на два голоса – споем!



Звезда ночная осветила сон,
Где мы с тобой вдвоем опять в концерте,
И скрипачу последний такт до смерти,
И ясно, что об этом знает он.

Хочу продлить, и не дано продлить –
Сам Бах все оборвал на этой ноте...
Звучит мотив: смерть – только долг природе,
Бесчестных нет – все смогут оплатить.

Но так совпасть! И с залом, и с судьбой,
С бессмертным вздохом Себастьяна Баха...
Совпасть, как сон и явь, как я с тобой...
И зал был освещен ночной звездой,
Пока оркестр и ликовал, и плакал.

* * *

Ровный свет простого дома,
Тишина непарушима...
Пара аистов знакомых,
Мироносица с кувшином
В радостных моих одеждах,
С вечною моей тревогой:
Так сбываются надежды
На далекую дорогу...

Ни лампады, ни распятя –
Мироносица с кувшином
В лучшем, брачном, светлом платье...
Тишина непарушима...

Только ночью, издалека,
Через сны и все разлуки
Плач, чуть слышный, одинокий,
Детский плач кутенком в руки...

* * *

Как обвал золотого песка,
Мыслей солнечных ливень в саду
Затопил, ослепил, расплескал,
И дорогу назад не найду.

На лету целовала стрекоз
И цедила медовый настой
Затаенных, на выдохе, роз:
Вечный полдень, как вечный покой.

А любви и никто не искал,
Просто шмель залетел в тонкий сон
И: обвал золотого песка...
Danke schön, danke schön, danke schön...

8 апреля 1994 г.

* * *

Вещая птица, жгучая тайна,
Тихая радость, сестра...
Кто возвратился из дальних скитаний,
Греется возле костра?

Тихие руки, тихие очи,
Тайная песня в устах...
Что он скрывает, чем озабочен,
Что он читает с листа?

Первая встреча: близость до страха,
Звезды засыпали двор...
Он засмеялся, словно заплакал,
Тихие руки – костер.

Прошлое смыто, тайна у входа,
Звезды над нами стоят...
Кто он, сегодня мне данный до гроба?
Господи, воля Твоя.

* * *

Столкнула, пугаясь, как птица, в зеркало
Взгляд, который пророчество пел...
Память вдребезги, на зерна мелкие,
Но ты успел.

Пальцы дымились, как клавиши белые,
Когда отпустила последний звук,
До самых окраин вселенских пела я,
Постигая себя на слух.

Минуты падали замертво, скошены,
Как гренадеры пред залой той,
Где двое, послушны велению Божью,
Пили любви настой золотой.

* * *

Тихие руки твои целую...
Не скорби: завтра солнце встанет,
Одолеем разлуку злую,
Говорю тебе не устами –

Неизмеренной глубиной,
Где гнездится вещая нтица...
Там впервые была собою,
И назад мне не возвратиться.

Тихие руки твои – крылья,
На которых летать училась,
На губах твоих солнечной пылью
Поцелуя Божия милость...

Постигая дар поцелуя,
Напою нектаром медовым...
Одолеем тоску земную
На пороге отчего дома.

Тихие руки твои – ветви
Самой древней земной березы...
Не скорби: ты и я отпеты
Под сухие майские грозы.

* * *

«Вся твоя жизнь – малиновый
букет».

(Из разговора)

Вся моя жизнь – малиновый букет,
И я дарю тебе его на радость,
Его земная, солнечная сладость
Да будет главной из моих побед.

* * *

Татьяне Синицыной

Это белые крылья неясных, сторающих звуков
Быют огнем изнутри: не поднять эту песню
в полет.

Беспощадней, чем жизнь: совершенство
нездешнего слуха —
С тихой флейтой палач у меня за плечами поет.

Опалили уста несказанные звуки могучне,
И сознание прожгла тихой флейты
нездешняя трель...
До кровавой тоски невозможностью
песни измучена:

Мне и жизнь не страшна,
я и смерти не знаю теперь.

Отпускаю на волю могучую вещь лебедь,
Серым камнем застыл за плечами чарующий звук...
Я опять не разбилась в живом,
ослепительном небе,
И вернулся ко мне совершенством
измученный слух.

Голос свой слышу, Боже мой,
Из завтра ко мне влекомый,
Дыханием гроз умноженный,
Обугленным в горле комом.

Как плоти земной зачатие,
Как дальняя весть – откуда?
Расплата со мной за счастье,
Которого знать не буду...

И с моим дыханием согласно,
Из сегодня в завтра и обратно
Голос мой течет рекою тихой...
Я стою на берегу и в воду
Косточки веселые бросаю,
И на дне мне видно отражение
Сада, где живет чужак – не меньше,
Для которого мой голос – память
О себе самом... А дальше – тайна.

* * *

Нечаянная радость в каждом дне:
Как слышим мир – так он в нас отзовется...
Черно в глубинах старого колодца,
Но светлый родничок бежит на дне.
Ценою страшной доставалось мне
Сквозь толщу черных вод его заметить...
Как слышишь мир – так он тебе ответит:
Нечаянная радость в каждом дне.

Письмо из августа

Я, как и Вы, снимала угол летом
В одном семействе, шумном, многодетном,
И дом наш старый, на краю села,
Всегда звенел беспечным детским смехом,
Хозяйка до обеда вся в делах,
А ребяташки, босы и проворны,
Ей помогали весело, задорно,
И я средь них чужою не была.

Они мне рассказали столько сказок
Про старину, старух с недобрый глазом,
Откуда в сад влетает старый ветер...
И я внимала мудрым их рассказам,
Как будто в первый раз жила на свете.
Я с ними больше радостно молчала
И удивленно головой качала:
Мне нечего на их рассказ ответить.

Все говорилось на высокой ноте,
Когда душа еще в таком полете,
Что выдержит любое торжество,
И как Вы это все ни назовете:
Предназначение, чудо, божество, —
О мире узнавала я немало;
Ведь наших душ и тайну, и начало
Давно нездешним ветром унесло.

Однажды, это было на закате
И в августе, который не назвать мне
Нельзя хотя бы потому, что он
Дышал теплом и, распахнув объятия,
Был полон самым главным торжеством:
Дарил нас яблоками, будто чудом.
(С утра мне дети наполняли блюдо –
Гостеприимства здешнего закон...)

Так вот, однажды (это было странно)
В закатной тишине непостоянной
Я различила сказочный напев:
Над садом и желтеющим бурьяном,
Чуть край небес над озером задев,
Высокой песни высшее доверье,
Вниз сбрасывая яблоки с деревьев,
Звенели голоса далеких дев.

Звук нарастал и плыл из поднебесья,
Летел закат по следу этой песни,
И все на свете зная наперед,
Себя сжигало солнце на том месте,
Где после и луча не соберет...
Я слушала, музыке той внимая,
Нездешних слов ее не понимая,
С готовностью вступить, но в свой черед...

Те голоса звенели не украдкой,
И этой музыки густой и сладкой
Я помнила дыханье и напев...
Ее искала я в своей тетрадке,
Но там записан был один припев.
Все остальное кануло куда-то...
Я знала, что за это ждет расплата
И, может, расплатиться не успев,

Я буду небу вечная должница:
Ни есть, ни пить и поздно спать ложиться,
Но музыки распахнутая страсть
Ко мне навстречу не метнется птицей,
И яблокам с деревьев не упасть...
И только память по ночам измучив,
Не в силах буду вспомнить я созвучья:
Чего не знаешь – даже не украсть.

А утром дождь пошел и небо стыло,
Я притворилась, будто бы забыла
Закатный хор, звенящий накануне...
Да так ли это, в самом деле, было?
Мальчишки, час утра подкараулив,
В проем окна привычно ко мне влезли
И блюдо яблок – целое созвездье –
Оставили на старом венском стуле...

И все пошло обычной чередой,
Так, как, наверное, сегодня стою:
Прогулки, письма, книжка до рассвета,
Шуршанье звезд, летящих за стеною, –
Кончается обманчивое лето.
Мои мальчишки радостно беспечны:
Для них минута – это только вечность,
И я им тайн ненужных не открою...

1983 г.

Городище Воронич

* * *

*Держись Горы. Всё остальное ложь.
И никому не пережить печали:
Плыть океаном, к берегу причалить,
И сам себе навстречу ты идёшь.*

*Держись Горы. Всё остальное сон:
Извилистый, запутанный, угрюмый,
В нём вместо песни кровоточат думы,
И безразлично — кончится ли он.*

*Держись Горы. Всё остальное — страх.
Всё, чем как будто обладал однажды,
Всё, кроме Слова, станет пылью влажной, —
Держись Горы, незримой в небесах.*

РОМАН

Вступление

Я упорно называю эти главы романом, прекрасно понимая, что такое роман в его классическом чистом виде. Отчего же всё-таки роман? Здесь есть моё время, страна, моё детство, моя любовь, моё творчество, мои поиски, мой мистический опыт; места, люди – здесь практически вся первая половина моей жизни и все её переплетения. Я и сама иногда мучаюсь от того, что могу писать только коротко, сжато. Но изменить это не в моей власти... Со дня написания этих глав прошли годы. Не жить, не писать так я уже не умею, по мне важно, чтобы эта проза осталась: для кого-то она, может быть, нужна.

* * *

Осмысливая последние годы свою жизнь, как мистерию, влитую в общий мировой поток, не могу не радоваться медленно прибывающей гармонии... Постепенно многие разрозненные детали складываются в цельную картину, и круг этой целостности часто захватывает очень отдалённые времена, пространства и имена, которые только на самый поверхностный взгляд не имеют отношения к моему сегодняшнему дню. Чудо жизни в том и состоит, что она вечна и непрерывна и ты живёшь всегда и везде хотя бы какой-то своей частицей.

Глава 1

Опять всё забилося, заворочалось, задвигалось – чрево дышало, как земля в холодный весенний день – прерывисто и тяжело. Было ясно, что ребёнок жив, что это мальчик. Оставалось надеяться, что появится на свет в срок, но никакого воображения не хватало представить – на кого он будет похож.

Сколько кровей смешалось в этом потоке, сколько смертей дышало там, внутри меня, на дне чрева, – готовые подняться из крошечных, скользких, кровью пропитанных глубин – возродиться, начать новую жизнь. Вечную. Ибо вечно жить можно только в Слове. Словоросло во мне, и я всё отчётливее слышала по ночам этот рост, чутким ухом улавливая полёт многотысячной конницы и смутно угадывая силуэт единственного всадника, упавшего в золотую гриву.

Этим всадником была моя душа – дерзкий, весёлый, бесстрашный мальчишка, который там, во тьме столетий, добывал мне опыт и знание и, жизнью рискуя, пробивался ко мне сюда, оставляя свою добычу на бесплотных страницах моих тетрадей. Оставалась начать. Было 13 часов 50 минут. В келье я была одна.

Мальчик мой, измученный трудом и бессонницами, собственной дерзостью и моей неуверенностью, мчался ко мне во весь опор, одолевая пространство и время, задыхаясь в золотой горячей гриве, мчался с какой-то главной вестью. Мгновение назад разбитая, немощная, неустроенная, ни в чём не

уверенная, беспредельно одинокая, без верного куска хлеба – мгновение назад, ощущая весь этот чудовищный груз, я не знала, о чём просить.

Но мальчик мой, с утра умытый водой Каялы, пронитанный пылью дорог, давно заросших непроходимым лесом, мальчик мой на лету бросил мне поводья – мы обнялись и заплакали: «Господи! Не оставь в Слове. Остального не прошу – не смею, только в Слове не оставь, Господи!..»

Несколько тысяч лет молились до меня, вслед за остальными я повторяла слова древних молитв – искренне совершая этот каторжный труд и не достигая радости. А здесь всё свершилось само. На мгновение стало страшно – выбор сделан. Было 13 часов 50 минут. В келье я была одна.

Дьяк Мардарий закрыл книгу, выглянул в окно: к острову среди озера шёл Пикон. Ветер сбивал волны к его ногам, но патриарх шёл легко, сильными движениями отбрасывая мокрые воскрилия рясы.

Несколько мужиков на берегу привычно перекрестились, глядя вслед Пикону, и только десяток стрельцов, вчера прибывших для караула, лежали в неглубоком коротком обмороке.

Глава 2

Около 14 часов пополудни маленький, разбитый, пропылённый автобус высадил нас на несчастной дороге среди сосен. Раскалённый смолистый зной – дух моей колыбели – пронзал стрелами.

В нескольких метрах от дороги чернело здание старой школы, от него бежала длинная аллея молоденьких, тоненьких берёз. Мама повернула меня лицом к берёзам: «Посадили, когда ты родилась. Всей школой сажали – тебе на память». Я смотрела на берёзы, ещё не узнавая их. Больше помню реакцию брата (если мне 5, то ему 3 года): «А мне»? Он захныкал, запросил сам не зная чего. Его успокоили конфетой.

Родители перевязали, рассортировали, разместили на себе все наши чемоданы, сумки, коробки, и мы тронулись в путь, утопая в горячем золотом песке, смешанном с иглами сосен. Я знала почему-то, что вот на том повороте запахнет земляникой. А от земляничного запаха до деревни один шаг. На мне белый шёлковый пыльник, белая шляпка с полями. Через плечо, на узеньком ремешке крохотная красная сумочка, белые носочки, красные туфельки. Никогда в жизни я уже не одевалась так хорошо!

Волнуюсь, откуда-то знаю, что сейчас, скоро начнётся праздник. И я тороплюсь. Вот и сосны взбежали на пригорок. Корни их всегда удивляли меня своей бесконечностью, безначальностью, силой, своей смелой обнажённостью и непредсказуемостью форм... Оставалось перейти эту реку, ручей, пруд, эту лужу (так с годами я по-разному думала об этой воде), и сразу дорога заберёт вверх. И там, наверху, как на ладони, недалеко – на расстоянии негромкого крика – стоят все семь домов деревни. Наш – крайний, самый высокий. И я верю, что

каждый день в этот час там стоит женщина с поднятыми к небу руками. Её сильный молодой голос обжигает, как этот настой из солнца, песка, хвои и земляники. «Ратуйте, люди добрые!» – и она бежит к нам с горы и плачет, и причитает, и убивается так, будто мы не гости из Сибири, а пришельцы с другой планеты. В ней ли, в бабке моей только, была эта великая трагическая способность: переплести радость и беду, отплакать встречу, как расставание?..

Эти первые минуты её плача заставляли меня пережить солнечный ужас – я заживо сгорала от отчаяния: не ждали, не узнали, не любят... Но через мгновение понимаю: мы дома, нас – ждали.

И вот уже суета, толкотня, уже бабка легко подхватывает чемоданы, уже разговоры на ходу, вопросы, на которые она не ждёт ответа... Уже в воротах соседнего дома стоят хозяева – кланяются издали, а у наших ворот встречает дед. Руки за спиной, рослый, прямой, красивый, обжигающий синим огнём молодых глаз. К нему подходят по очереди, ждут его движения, его слова. Его целуют родители, он гладит по головке брата моего: «Внучок...» И поворачивается ко мне: «Внученька, позвольте ручку поцеловать». Я протягиваю ему свою крошечную золотую от песка и солнца ручонку, он легко, молодо наклоняется с высоты своего громадного роста – целует. И все уходят в дом, как бы сопровождая деда.

А я остаюсь. И так спокойно моей огромной, разрастающейся душе. Я ещё не снимаю пылинки, я ещё в шляпке, я только прислушиваюсь к

этому миру, присматриваюсь, узнаю его. И немного побаиваюсь жёлтых живых комочков у моих ног. Небо высокое, не вышитое зноем. И там, в этом небе, слушаю землю, припадая к ней слухом и взором, парит огромная чёрная птица. Одного цыплёнка бабка в этот вечер не досчитается... Но ей не до этого. Уже полна хата гостей – пришли все деревенские. Уже сдвигают столы, уже шипит, разрастается на огромной сковороде многолунная яичница, в хателюдно и весело. Родители одаривают всех, никого не пропустив: кому платок, кому рубаху, кому забаву какую. А самое главное – московские гостинцы: ржавая жирная селёдка, целые связки золотистых, мягких, пахнущих маком баранок, конфетки в ярких бумажках – всё это раскладывается на столах, пока я одна, в своём белом пыльничке и белой плянке, стою среди мира, любуюсь коршуном в небе и страшась желтых комочков у моих ног.

Меня находит дед. Огромный, выше всех домов и деревьев (ни один из сыновей не дорос, не догнал Алексея Никоновича). «Внученька, пойдёте обедать». Я доверчиво даю ему руку, и он вводит меня в комнату. Вот он, мой час! Или не этот, а следующий? Моё появление – как самый долгожданный, самый удачный, талантливый выход. Всё тянется ко мне: руки, взгляды, голоса... И умница, и красавица, и свет таких детей не видал, – когда хор достигает, казалось бы, самой высокой ноты (мама не успевает вмешаться... или не хочет?) – кто-то сдвигает в кучу все эти селёдки, баранки, конфеты – меня ставят на стол. С остановившимся сердцем прыгаю

я в золотой поток: и жутко, и всё на части рвётся от радости: читаю стихи. Они слушают меня, а я ещё не знаю, что я для них первый ребёнок после войны на этой измученной белорусской земле, что моё появление на свет осветило их жизнь надеждой: ещё не все мёртвые были погребены, и живая, только рождённая душа, казалась чудом и обещанием на завтра.

Текли они тогда к матери моей, к любимой учительнице своих детей и внуков – несли кто яйцо, кто кусок сала, толпились в тесной школьной комнате, где мы жили. И каждый брал на руки, смотрел в лицо, взвешивал на ладонях, поднимал к небу – любил и желал счастья. Теперь мне скоро шесть, я звонко и бессмысленно выкрикиваю пушкинские строки. И многие из них плачут. А за окном трепещет огромный молоденький яблоневый сад, посаженный дедом в честь моего рождения. Как ждали меня здесь! Ничего этого не понимаю, но каждой клеточкой чувствую, что во мне – источник радости, радости до слёз! И золотой поток всеобщей любви уносит меня и растворяет в этом празднике. А он, шумный и весёлый, выплёскивается во двор. Веселее всех, громче всех, задорнее всех моя бабушка. Очень похож на неё отец. И только у деда руки по-прежнему за спиной, он сдержан и малоулыбчив. Он не такой, как все. Я чувствую это и, наверное, поэтому немного его боюсь.

Могучий, умный, сильный, талантливый человек, жизненной позицией которого была – безупречность. Всегда и во всём. Я не знаю ещё, что уже

много лет он отравлен страхом. Однажды, когда все шагали в ногу: левой, правой... он, в силу обстоятельств, замешкался, не понал в такт... Никто, я думаю, этого и не заметил. А он укрылся в этой глуши и с тех пор всё ждал какого-то неотвратимого наказания, расправы. Лучшие годы ушли на это ожидание, страх съел душу. Дед уже ничего не мог сделать с собой, с жизнью своей: он заложил руки за спину и смотрел вдаль, поверх всего. А страх съел жизни его сыновей и пополз дальше.

Я смотрю на деда, безучастного среди общего веселья и ликования. Когда впервые стало страшно мне?! Я не помню. Я устала. И когда хочу заплакать, уснуть, как-то спастись от этой усталости, от этого бесконечного дня – чьи-то сильные любящие руки поднимают меня высоко-высоко и бросают в небо.

Алексей. Алексей Алексеевич. Младший, самый красивый, талантливый, самый добрый сын моего деда. Мы не думаем, давая имя. Но и в имени судьба. Божий человек, сын Божьего человека – он собрал в себе любовь, добро и смирение всего рода, стал надеждой моего деда. Дед незаметно для себя переложил на плечи этого семнадцатилетнего мальчика свои неосуществлённые, затаённые помыслы, мечты свои. Он каким-то титаническим усилием уберёг его от страха. Алексею оглядывались вслед, его любили дети и старики, звери и птицы, травы и деревья. Ему всё было под силу в той гармонии, которая звучала в природе. Божий человек поднимает меня высоко-высоко, бросает в небо, и я лечу навстречу его сча-

счастливой улыбке, его безграничной любви, красоте и распахнутости – я могу и не вернуться из этого полёта. Как выдерживает моя душа столько любви? Или из одного этого дня вся её щедрость и сила?.. Алексей подкидывает меня ещё и ещё, мне не страшно: какой долгий полёт... И опускаюсь я на колени на мягкую землю среди сосен. Это единственный раз, когда я смогла поклониться вам, дед и бабушка. Но первым здесь лёг Алексей. Пятнадцать лет длилась эта последняя каторга деда. Ворвались и пропивались вещи, сила, ум, красота, любовь, талант. Плакала, валялась в ногах бабушка: «Опомнись, пожалей, сынок». На годы замолчал дед. Они были уже немощны: вода, дрова – забота Алексея, когда вспоминал. Но у него было условие: «Нальёшь?» И дед наливал, когда было что. Жалел.

Я лечу навстречу его счастливой улыбке, его безграничной любви, доверию, радости и опускаюсь на колени среди могил... С какой любви всё начиналось, Господи!..

Глава 3

В деревне только самые старые люди помнили, что он был когда-то учителем, что была у него любимая жена и сыновья. Сейчас он был одинок и всегда пьян...

Я здоровалась с ним, когда проходила мимо за водой. Он отвечал нечленораздельно и безразлично.

19 августа день уже замыкал свой круг, и мне на этот день хватило радости: я берегла её в себе,

но всё ждала и ждала чего-то. Оставалось принести воды, выбрать книгу для этого вечера и в полночь уснуть с неясным ожиданием счастья или беды.

Старик поднялся со своей скамейки перед домом, поклонился на моё приветствие и подарил такие слова: «Позвольте вручить для первого знакомства», – в ладонях его светилось огромное, прозрачное яблоко. Я приняла его в свои ладони, и мы сели рядом. Говорили о жизни, прожитой им, о любви, о его детстве. Закат уже обнимал нас со всех сторон, когда мы простились – два близких человека. И я вернулась в дом с пустыми вёдрами и яблоком – даром этого вечера.

Круглое яблоко лежало на круглом столе и ровным, золотистым светом освещало комнату. Окно в сад было открыто. Радость нарастала, а с ней и ожидание. За окном закричала баба Клава: «Лариска! Баньку я истопила, иди, исхлещу тебя, рюмочку выпью да спать пойду». Я лежала в горячем берёзовом пару, а старуха трудилась надо мной истово, вкладывая в каждый взмах веника всю душу свою: «Дай Бог тебе здоровья! Дай Бог тебе жениха хорошего!» Она ушла, усталая и довольная: лёгкая, сухая, почти бесплотная – растаяла в глубине сада. Я открыла дверь и долго сидела в предбаннике, слушая жизнь. Ночь уже дышала ровно и глубоко: звёзды, листья, яблоки на деревьях – всё сплелось. В траве притаились зелёные драгоценные изумруды – уснувшие лягушки; иногда гулко падало яблоко, и в земле под ним оставалась неглубокая тёплая вмятина: я слышала, как перезрелый сок вытекает и уходит в землю. Чёрными яблоками висели на ветках

нашей вечной липы знакомые вороны, безголосые в этот момент – все поражённые ангиной...

Я шла по саду, не касаясь травы, не нарушив этой жизни ни вздохом, ни случайной мыслью. Ни одна из ворон не обрела голоса, ни одна лягушка не прервала своего сна.

В доме было светло: свет в моём яблоке всё нарастал, заполняя собой все углы огромной комнаты. В этом свете разглядела зелёную кожаную плоть книги, которой ещё вчера не было в доме. Книга открылась передо мной, рука моя потянулась к яблоку: я надкусила его осторожно и целомудренно и обрела первые слова: «Бог создал мужчину и создал женщину...» Плоть и дыхание каждого слова не нарушали священной жизни этого вечера, и ладони мои светились ровным, золотистым, тихим светом... Круг замыкался – день сейчас оборвётся сном, а я уже знала, что любовь караулит за окном, под мощными ветвями нашего сада. Оставалось выйти в сад и броситься на острие копья, нацеленного в моё сердце.

Глава 4

Туман стекал с холма в Сороть. Я выкупалась в этом тумане и медленно пошла в гору – в сад, где солнце только начинало работу: выпивало росу, согревало влажные тропинки, вливало в каждое яблоко сладость. Утро – музыка света и тени – только начиналось. Далеко где-то скрипнула калитка. Нас ещё разделяло всё 19 столетие, но уже тысячи созревших яблок – маленькие, голосистые колокола нашего сада – ударили полный звон... Уже зная,

что не спастись, не убежать, не остановить время, протекающее через это место, вчера зная, что люблю, я, вместо молитвы, которой меня не научили, — начала читать стихи. Глубже задышали побегги, напряглись и выпрямились травы — всё пустилось расти у меня на глазах. Но человек не остановился — он всё шёл и шёл мне навстречу, в траве до плеч, и уже протянул руку... и с ужасом и жалостью безграничной разглядела я: был он мраморным до пояса. В луче солнца на ладони его загорелось крошечное кольцо, он властно взял мою руку и, в кровь сдирая кожу, надел мне кольцо на палец. Он даже не поцеловал меня — повернулся и пошёл: памятник самому себе. И каждую жилку этого розового холодного мрамора я уже омывала мощным потоком своей живой крови, напрягаясь всей плотью, в сердцевине которой звенело, плакало, созревало маленькое яблоко — моё сердце. День направил свои крылья к полудню, испепелённый светом сад прошелестел сквозь меня золотым звенящим потоком...

Там мы и начали встречаться — в этих снах, где явь выражала себя с полнотой и совершенством пушкинской прозы. Я и сейчас не удивляюсь, что Пушкину удалось написать эту вещь. Писал он наш роман легко: всё совершалось в вечности, жил он на этой усадьбе, мы поселились рядом, начали сталкиваться, маячить, ходить по его следам: не мог он оставить нас безнаказанными. И потому, когда через несколько лет здесь, на усадьбе, протянул мне руку — знакомиться — человек, кольцо которого я давно носила на пальце и с которым прожила уже половину жизни, — мне стало страшно: сейчас,

здесь, 19 августа, всё начиналось так, как уже прожито во сне, в той реальности, где мы во всех зеркалах похожи сами на себя.

Любовь сделала его похожим на себя: на мальчишку с детской фотографии. Таким помнила его только мать. Любовь вернула ему время, по которому он тосковал...

Необычайно тёплый апрель. Ветку рябины я берегла всю зиму – поставила в тёмно-синюю вазу. За окном белым, розовым, сиреневым светом радовался монастырь, и пирог удался. Сейчас ты придешь к столу. Всё идёт по заведённому порядку, только завтра тебе восемьдесят лет.

Я вспоминаю, как это началось... Блоки переезжали на новую квартиру, и Александр Александрович попросил помочь. Любовь Дмитриевна собирала вещи у себя в комнате, а Блок дал мне ключи от шкафа, в котором помню только старую чёрную шкатулку да запylённые холсты, свёрнутые трубкой. Один холст Блок подарил мне. Разворачиваю, подхожу к окну: старая живопись – сочная, яркая: около плетня, раскинув руки, с лицом счастливым – весь порыв и движение – стоит Блок. А вокруг бескрайний простор и воля. Ещё мгновение – и он уйдёт туда, этот счастливый человек. Ничем его не удержишь. Внимательно рассматриваю холст и замечая крошечную деталь, ускользнувшую от первого взгляда: ладони Блока прибиты к забору гвоздями. И через мгновение это уже не Блок – у него твоё лицо. Вокруг по-прежнему простор и воля, только шага этого ты не сделаешь. Я подхожу к тебе: «Любимый мой, я научилась печь пироги...»

«Нет, – жалуешься, почти плачешь ты... – Нет, я не смогу, у меня нет сил... Боюсь... я должен быть один». И я успокаиваю тебя: «Ты будешь один – не бойся ничего». Ты задёргиваешь шторы и закрываешь за мной дверь. Я ухожу, только ключи, данные мне Блоком, остаются у меня. Не бойся ничего. В каждом сне ты будешь прятать голову в моих ладонях. Не бойся ничего. Мальчик мой, я укачиваю тебя на руках маленького, только рождённого... Как горько ты плачешь... Мы стоим на краю огромной ямы, из которой отвратительные страшные могильщики орут мне: «Брось его! Брось его сюда!» Я прижимаю тебя к груди и отвратительно, страшно кричу им: «Нет! Нет!» И могильщики ушли. Я не отдала тебя им. И ключи, оставленные мне Блоком, у меня в кармане. Не бойся ничего. Где мы с тобой сейчас? Сидим за столом и завтра тебе восемьдесят лет? Ты плачешь, уронив голову мне в колени? Ты один у себя в комнате – просишь о чём-то Бога? Одного я не знаю – о чём твоя молитва...

Глава 5

Так случилось, что я оказалась в толпе баб с ребятами да недужных мужичков из окрестных деревень, собравшихся под окном кельи Икона в надежде на исцеление или помощь. Все в округе знали, что ссыльный патриарх лечит травами и молитвой, и всем миром дружно сплетали для будущих историков быть и небылицу. Я верила в благодатную исцеляющую силу его молитвы, но шла не за этим. Давно знала, что нам не размынуться.

Был сон много лет назад: я держала в руках его икону. Хотя даже в конце двадцатого века патриарх Никон будет только в одном источнике упоминаться как местночтимый святой, но я знала другое и стояла в этой шумной очереди за встречей, во многом — за своим будущим.

Как обычно, было около 14 часов пополудни, звенел май 1672 года. Мимо Ферапонтова монастыря сновали подводы, из ворот выходили монахи и богомольцы, отчаянно беспокоились монастырские вороны и галки, на лошадях везли брёвна в монастырь: кипела молодая майская жизнь. Бородаевское и Пасское озёра уже очистились ото льда и со всей весенней, неудержимой силой отражали бездонное небо. Склоны вокруг монастыря галдели одуванчиками.

Всё это тысячекратно усилится и повторится для меня в последующих столетиях: часто буду черпать силы в молодой, майской радости, заливающей это место. Но подонла под благословение и заплакала... Пролился свет далёкой Руси. Десятый, одиннадцатый, четырнадцатый века золотой цепью проскользнули под рукой; а навстречу, из будущего, потекла такая же золотая цепь, и всё это соединилось через этого человека, в этом человеке.

Работы хватит историкам и поэтам, врялям и сплетникам, друзьям и доброжелателям: Никон для всех интересен, для всех необходим, хотя бы для того, чтобы просто выжить в истории... Но так близко это полная, живая рука, пахнущая лавандой, это дыхание...

Как всегда, другого знания мне не дано, я могу одно: знать живого человека. Переодевшись в платье послушника, я несколько недель прожила рядом с ним, и как раз в это время он возил на лодке камни к середине Бородаевского озера и насыпал из них остров. Я помогала ему. И несколько ночей подряд наблюдала, как рассчитывал он насыпную дорогу из камней, по которой можно будет дойти до острова – по воде аки по суку – и прочесть на кресте надпись: «Смиренный Никон, Божней милостию патриарх...» Таким я его и помню.

В июле, в полнолуние, ночью он впервые прошёл до острова – по выстроенной им подводной каменной тропе. Я стояла на берегу вместе с дьяком Мардарием и заплакала, когда Никон уже возвращался. А пока смотрела на его могучую фигуру, удаляющуюся от меня по лунной тропе, просила: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную...» Никон уходил и уходил, а я не смела, не могла просить за него. И дьяк Мардарий, не замечая, рвал чётки и тоже о чём-то молился. Собственно, после этой ночи мы и расстались. Он благословил меня крестом и просил молиться за него, что я и делаю каждое утро и каждый вечер...

«Помяни, Господи, души усопших раб твоих: Исидора, Агафью, патриарха Никона, архиепископа Луку...»

И вижу, как он идёт мне навстречу в лунном свете, живое воплощение Руси, самый русский человек из встреченных мною на наших дорогах.

Глава 6

Радио у соседей объявило: «Московское время 13 часов 50 минут», я провалилась в дневной сон, на самое его дно, где, зачерпнув полную пригоршню сновидений, с трудом выплыла на поверхность.

За окном вместо привычного серого мрака откуда-то взялось Солнце. А радио не замедлило сообщить: «Московское время 13 часов 50 минут»... «Ослышалась», — подумала на ходу и, медленно перебирая сновидения, отправилась перекапывать гряды. Солнце трепетало, билось, как птица пойманная, на востоке почему-то; мимо прошёл человек, которого я когда-то встретила в счастливом своём сне, который жил в другом городе и другой стране, и в третий раз, на всю улицу, на весь мир в это мгновение прозвучало: «Московское время 13 часов 50 минут». Спасительно обернулась к монастырю: зазвучал благовест, хотя давно уже ни одного колокола не было на нашей колокольне...

Через мост торопливо прошли два монаха: старый и молодой, вокруг всё дышало, вздрагивало, пело колокольным звоном, голосами птиц, смехом прохожих...

Потуже затянув концы платка, повязанного по-бабьи, пошла вслед за монахами к монастырю, а звуки благовеста и новой, незнакомой жизни всё разрастались. Уже толпа струилась к монастырским вратам, сновали по двору монахи, и глаз успокаивался на их вечных, чёрных одеждах.

Служили в соборе. Было тесно, но не душно – легко дышалось. Я прижалась спиной к стене, к росписи, под ногами у праведных на Страшном Суде, и вдруг услышала звук мерный, тёплый – знакомый ритм – гулкий и неторопливый. Спина моя касалась нижнего яруса росписи – орнаментального круга: звук шёл оттуда. Прислушалась: билось сердце. Мне не дали насладиться этой догадкой: подошёл и встал рядом человек из сна, из другого города и другой страны, и раздались первые слова молитвы...

Глава 7

Каждый раз, проходя мимо старой дубовой двери, обитой кованым железом, я всё не решалась войти туда. Уже и экскурсии водила, стояла перед этой дверью лицом к туристам, ощущая за спиной присутствие Архангелов Михаила и Гавриила. Из всех росписей здесь, на портале, Архангелы были ближе всех...

И позже я уже осмеливалась, пробегая мимо, на мгновение касаться губами стопы Архангела Гавриила, становясь на носки и вытягиваясь всем телом: туда, к нему. Но в собор не входила.

Собор был закрыт на реставрацию, внутри всё было застроено пятньюрусными лесами. Люди приезжали издалека, падали в ноги хранителю собора: «Пустите! Дайте взглянуть на чудо Дионисия». А мне и можно было, да я всё не шла. Поэтому так и помню день июльский, когда я всё-таки открыла эту

дубовую дверь, обитую кованым железом. И здесь, в те мгновения, я вернулась к себе, к истоку, к началу, к моменту зачатия, к появлению моему в этой жизни. Враз рухнули все пласты сознания, и меня не стало, и я была, блаженствуя в утробной немоте, когда и мать меня ещё не знала...

И чтобы пережить это великое событие – момент собственного начала – и вернуться опять на уровень моего теперешнего сознания, мне даны были слёзы. Они пролились тысячелетним дождём над моей душой, смыли всё, что прилепилось ко мне ненужного и случайного, омыли каждую пядь собора, и росписи на стенах задышали и зажили первоизданно. И я была я. Шёл 1490, 1502, 1985 год... Впервые я сумела сбросить до конца шершавую плесь времени. Его нет. Это убийственная, дьявольская выдумка, чтобы человек сумел разминуться с собой, чтобы держать человека подальше от себя самого.

Омытая, очищенная от всего случайного, я едва дождалась ночи, чтобы ещё раз, с закрытыми глазами, толкнуть эту тяжёлую дубовую дверь. И когда я уже подходила к ней, из самых затаённых моих глубин возникла молитва, похожая на плач. «Господи, где он сейчас? Сидит за столом и завтра ему 80 лет? Плачет, уронив голову мне в колени? Один у себя в комнате просит Тебя о чём-то? Где он?! Что меня ждёт с ним дальше? Кто он мне?...»

Тяжёлая дубовая дверь заскрипела и закрылась. Поток слёз, уже отшумевший сегодня надо мной, увлёк меня в сон. И вынесли мне навстречу икону

Петра и Февронии Муромских, и поклонилась я им до земли, и привели они меня на поляну, где в маленьком прибалтийском коттедже умирал он. И как награда и облегчение мне дано было знать: я должна войти в комнату и всё сделать, чтобы он не умер... Тот же слёзный поток вынес меня из глубин сна, и я проснулась с благодарностью к Господу, с ответом на свой вопрос, а когда поднесла ладони к лицу, чтобы утереть слёзы, засмеялась: на подушечке каждого пальца было отпечатано по маленькому яблоку.

В ту ночь этот же сон пережил до мельчайших подробностей и человек, о котором я молилась. Это выяснилось осенью при встрече: мы были в одном сне.

Так вошел в мою судьбу Собор. Самое живое, самое богоподобное и человечески соразмерное создание русского духа: окрылённая, радостная, глубинная сущность души русской, уровень сознания лучших русских людей... Место, где произошла моя окончательная встреча с собой. И теперь, когда уже прошли столетия и я многое знаю, я обязана сказать: я не сумела спасти того человека. Просто шло строительство моей души.

Глава 8

Восемнадцатого августа, за час до полуночи, я зажгла большую толстую свечу в высоком подсвечнике и вышла с ней за ворота дома. Дом стоял в глухом лесу, на расстоянии шести песен от усадьбы

Пушкина. Я уже давно догадывалась, что где-то в этом доме или в укромном уголке этого сада, в маленькой шкатулке лежало серебряное яйцо, а в яйце – напёрсток, а в напёрстке...

Я жила в этом доме когда-то и через десятилетия самыми странными путями возвращалась к нему, и почти все главные события моей жизни совершались здесь. Накануне неизбежного я всегда оказывалась в этом доме, какое бы расстояние нас ни разделяло. А сейчас, прямо за порогом дома, крестом лежала лесная, сияющая в темноте дорога. Я поставила свечу в самую сердцевину этого креста и начала молиться.

Осветились деревья и травы, знакомые пни и кусты, каждое яблоко на единственной яблоне нашего сада. Ночь стояла радостная, глубокая, звёздная – Преображенская ночь, – и всё в природе тихо радовалось предстоящему дню: каждая травинка трепетала перед нарастающим величием этого чуда.

Молилась обычно: просила научить любить, молилась за живых и ушедших вперёд, молилась, как умела. Но воссиял и мне, грешной, и пролился тихим потоком свет присносуший, и было в сердцевине этого дорожного креста как у подножия Фавора...

Уже после полуночи я оставила свечу среди леса и ушла к себе. А через час за моим окном пролился свет... И в это мгновение тысячи созревших яблок Михайловского сада ударили полный звон, напряглись и вздрогнули светила небесные, ахну-

ли и взялись за руки могучие Михайловские деревья: это был человек, которого я видела когда-то в далёком забытом сне, и с тех пор он тихим ручейком протекал сквозь меня, и я знала, что музыка его никогда во мне не иссякнет.

– Я шёл на свет твоей свечи. – Он говорил с лёгким акцентом. – Ты не потеряла ключи, оставленные тебе Блоком? – Ключи уже давно горели в моей ладони. Я протянула ему их и в следующее мгновение знала: предстоит беспощадно и радостно работать.

Р. С. «Каждый год я встречал их на дорогах Михайловских рощ, и всё слышнее прибывала в ней мудрая тишина, а в нём явственнее проступала спокойная ласковая сила. При всей разности темпераментов и несхожести характеров, они поражали музыкальным согласием жизней. Почти слышно было внутреннюю мелодию, которая звучала в них и давала им счастье крылами касаться друг друга.

Мы кланялись издали, но близость наша в последние столетия была отмечена множеством живых подробностей и деталей. Я помнил её песни, посвящённые мне, её молитву на моей могиле, слёзы в моём кабинете, когда она прятала свои тетради и ручки на моём столе, среди моих черновиков, и всегда приносила мне яблоко...

Она любила меня. Я знал это ещё до её рождения, и я желал им счастья».

А. И.

Глава 9

Мы лежали рядом молча. «Ты ведь что-то сказал?» – «Я молился...» Хочу повторить слова твоей молитвы, но как больно, как темно, как страшно... Гос-по-ди!..

И надо мной белое лицо Петра, его руки, принимающие мой крик, удерживающие меня на столе... Неужели он не слышит, как, сдирая кожу полей, конница уходит всё дальше и дальше, обжигая меня потной, раскалённой пылью с запахом крови... и в этом могучем водовороте, в этой лавине жарких, блестящих, обугленных тел жадно ищу единственного всадника... Мальчик мой оглядывается на мой призыв, и горячая вороная лошадь под ним падает у меня на глазах. И он, ловкий, дерзкий, отчаянный наездник, налету успевает повернуть ко мне счастливое лицо...

Медленно, растекаясь золотыми ручьями, взлетает могучая грива, накрывает травы, пригорки и перелески, увлекает вниз Солнце... И в эту неизреченную даль, в это расплавленное, сочащееся золото, в этот нечаянный вечер я кричу, протягиваю руки: в последний раз коснуться мальчика моего...

– Мальчик, – где-то далеко загорается голос Петра, и я слышу, как захлопывается дубовая дверь, обитая кованым железом. 13 часов 50 минут. Мне дано жить вечно.

1987 год

РАССКАЗЫ

Пой, пойка, что стоишь

А мне не толсто годов было: шесть лет на седьмой. Стояла наша избёнка на выхохолье, но из окна на середё¹ видно было, как молоденькая соседка Катя частушку на улице поёт, как причитает:

Вы родители-губители,
Сгубили девушку:
Я без памяти лежала
Целую неделюшку.

Что с ней сделаешь? Говоришь – на зяблое лицо снег кидаешь. Подай ей парня из соседней деревни, и всё. Как звали его – выколонуло из головы. Но она падьма палась об нём. Ума нет, так как зовут?! Матка вся об ней прихлопоталась: в душу лезет, а она в гору пазгает, и более никаких. Матка ей: «Человека видишь, а ума не знаешь: замуж за него – это в киучий ад соваться – легче живой в огонь лечь». Но и матка отступилась: «Не переживай – уторок найдётся».

Расказувливала я тебе, какая она тончивая, белая была. Но с молоду дергопоска. Так завладай и пришёл жить на чужом полу. Иной раз лежу: хоть шей глаза – не дрыхнется – вспоминаю, как его звали, завладая-то. Да всё мимо роту суётся.

¹ Середá (вологдское; здесь и далее) – кухня.

Притошный он был человек, да и темногрудый. У них в роду все морные. Бородой-то оброс, так старым и казит. А так-то молодой, настоящий. Только маленькая выть¹ у него: на улыбку кожи не хватило. Им бы в один уголь дуть, да скоро Катя стала с ним негладко разговаривать: и пошла между ними кол да перетыка. В таком раскоселье не наживёшь долго – ушёл он. А она другого нашла. Весь из ума складен. И улётный² человек очень. Иваном звали. А тот-то, завладай, приходил, кричал под окном, а она: «Не зови – ни с какого голосу не пойду». И лепотины своей не показала. Тот было распукался: «Почто чужого мужика привечаешь», – да ушёл. А матка всё вздыхала: «Девка у меня умом плохая, тяжёлая. Думаю, обумится, ум на меру положит, а она и не думает». Все знали: пригонохой³ она Ивана присамкала. Присамкивали барышни из соседней деревни – да не могли присамкать. Так они и жили. Она вся тренескалась над ним. А он горячий был, а как смягчится, начинает жалость у него валиться на человека. Правда, ему не нравилось, что она рассомашливая – круг себя не уборная. Скруты⁴ много, а юбка на ней не прозёрлива. А уж салогузница: обязательно на верхосытку ей что-то надо. Ещё сердился, что долгобасенка.

Как-то пришла Катя к нам: повластничала, покоила сама себя. Потом ещё не одиново у нас

¹ Маленькая выть – мало ест.

² Улётный – аккуратный, ладный.

³ Пригоноха – ворожба.

⁴ Скрута – одежда, приданое.

бывала. Она частенько и скажет: «Пойдём к Марине в любё погостить». А Иван: «Что мы пойдём одновыденкой в такую долину...» Вот и придут к субботе: баню натопим – баня так духом и кормит.

А за столом Иван, как и другие мужики: три рюмки выпьет и бережёт репутацию: долгие песни поёт. А она всё со мной, всё понять не могла: «Что за жизнь пошла?! Народ, как из пропасти, деньги-то берёт...» Я ей и сдолбила: «На огонь добра не натягать». Нагостятся у нас, а Ивану и уходить не хочется: у них-то в избе мухи глаза выточат. Да своя удова на плечах сидит – идти надо.

Катя-то всю жизнь кольцевицей¹ работала. Пойдёт, обношится: на силу на великую домой придёт. Ведь нигде не позалоголовала² за целый день. Бывает, я с ней и за неделю не опнусь³. А вчера у бесотни⁴ опнулись. Вот я и вспомнила всё... А я теперь с сумёрек с белых спать ложусь. Ещё и черти в кулочки не дуют, а мне вставать. Ведь я сама большая – сама маленька. Так и вошла в прохладные лета – не заметила как. А ты ещё ничего, славутница ты наша. Но подожди: «Сзали едешь – настижёшь», – засмеялась тётя Марина и сказала: «Пой, пойка, что стоишь»⁵.

¹ Кольцевица - почтальонка.

² Позалоголовала - отдохнула.

³ Опнусь - встречусь.

⁴ Бесотня - клуб.

⁵ Пой, пойка, что стоишь - иди, девка, что стоишь.

Только стемнело, когда под окном раздались летящие, незнакомые шаги. Через мгновение стукнула дверь на крыльце, и не успела она подумать, откуда чужой в деревне, как человек уже шагнул через порог.

Был он молод и одет во всё новое, как будто час назад начал жить. Она собрала в кулак на груди концы старого материнского платка и ждала вопроса.

– Маргарита, – сказал Незнакомец, – а где твой Мастер?

Мастер был – помогал подрубать дом, – но это был Мастер на два месяца – теперь он уехал, и сердце о нём не болело. Был. Уехал. И Мастером она его звала. Но этот-то откуда знает?

– Ты из Вологды? – спросила она его на ты и с надеждой. Но он засмеялся:

– Нет. – Снял пальто и сел на кровать.

– Ты что, жить здесь собираешься?

Он опять победно и молодо засмеялся:

– Нет.

«Чепуха какая-то», – подумала Маргарита и приготовилась выставить его немедленно – она не боялась. Но он вдруг встал и как вырезал эти слова: она их даже увидела.

– Иди, помоги мне одеться, и я уйду. – Он протянул ей своё новое, колом стоящее кожаное пальто. Она шагнула к нему близко, на мгновение заглянула в глаза: два чёрных бездонных провала обожгли холодом.

«Господи, – подумала с облегчением, – сатана». Помогла надеть пальто, он повернулся к ней, ещё раз заглянул в глаза, засмеялся и спросил:

– Наши тут не проходили?

– Проходили, – ответила она, – на днях. Туда. – И махнула рукой за окно.

– В Индию, – обрадовался гость. Шагнул к порогу. От порога засмеялся, крикнул: «Маргарита!» – и снег закрипел под его новыми ботинками: в той стороне, должно быть, и была Индия.

Маргарита смотрела на примятую кровать, вспомнила мать, которая из этого угла много лет следила за ней таким же чёрным, пустым взглядом.

– Год скоро, как умерла. Сегодня год, – опомнилась Маргарита. Шагнула к порогу, качнулась с крыльца в ночь, чтобы окликнуть, позвать, вернуть. Но уже шла метель, уже плакали и стонали снега, поднятые с места, уже прилетели фантастические белые птицы с жёсткими крыльями, вознеслись до беспокойной, мутной Луны и, напившись из её огромного больного зрачка, опустились вниз, замели тропинки и дороги, погасили огни, стёрли все очертания реальности.

Только метель, только её свет, как белый лист, всю ночь носило над землёй, а утром я нашла его на столе, обременённого тяжелыми, неровными строчками...

* * *

«И вдруг вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, она поняла, что

ей надо делать» — с этого места начиная и до конца главы я знала эту страницу наизусть. Мне было десять лет. Я прочла и «Войну и мир», и «Анну Каренину». И поразительно чужой и неинтересной показалась Наташа. Но Анна!.. Всё моё десятилетнее естество сторело в пламени её страсти и муки и иногда, мне кажется, так и не возродилось с тех пор из пепла. Помню: я хотела её судьбы! Толстой бы меня погубил, но отодвинулись мы друг от друга: как всегда спас Пушкин — увёл.

За жизнь всё перечитывалось и переживалось, но уже на том уровне сознания, когда включены защитные механизмы. И с Толстым мы раскланивались издали.

Проходили столетия, и я плыла в этой громадной реке жизни, как в песне, слова которой придуманы не мной, да я их откуда-то знаю. И однажды светлой июльской ночью в Михайловском в самую глубину моего сна открылась дверь, и кто-то сказал: «Тебе надо прожить жизнь Анны Карениной». — «Я не хочу». — «Придётся». Это был поединок. Иногда мне казалось, что ещё немного, и я уступлю. «Будь, по-твоему, — сказали мне, — но проживи хотя бы одну сцену: встречу с Серёжей». И было ясно, что этого не избежать.

И я была Анной и прожила эту встречу, не понимая, что в ней проживаю всю её жизнь. А в конце, на грани возвращения к себе самой, передо мной разверзли бездну и дали мне туда заглянуть.

Этой бездной был Толстой. Не только личность, человек, писатель — всё то, что мы о нём знаем, но

и всё его прошлое и будущее, космическое его существование, его путь в вечности. Ужас, который я испытала в те мгновения, был священным, а опыт – бесценным. Всё остальное – неназываемо. В руках моих после той ночи оказался батистовый платок с инициалами К. С. Забыть об этом было невозможно, но чтобы жить дальше, я постаралась придать всему оттенок обыденности и опять плыла в этой громадной реке, как в песне, слова которой написаны не мной...

И однажды взяла с полки «Анну Каренину» и с молитвой: «Что же, Господи, мне ждать?» – открыла наугад. Встреча с Серёжей опять состоялась. Кто же он – Серёжа? Кто он ей? А мне? Кто он – Сергей Алексеевич Каренин? Почему он мне так близко знаком? И почему, когда я пришла впервые на могилу Сергея Есенина, мне вспомнился он, Сергей Каренин?.. В созвучии ли дело? Но и созвучие не бывает на пустом месте...

Что же случилось со мной, в мои десять лет, весной, в Сибири, когда таяли снега, в старом Братске, который сейчас на дне моря?..

* * *

Из огненного столпа на мгновение проступили очертания предстоящего иеромонаха, и опять мощно и ровно огненный столбик вознёсся вверх... «Величаем Тя, величаем Тя...» – К священнику присоединилось ещё два голоса: у громадного престола, несоразмерного с пространством алтаря, сто-

яли ещё двое. Я видела одного, справа. И это не был ангел... Он подавал кадило, выносил свечу, он бросался по первому знаку принести, убрать, и это не был ангел. Он протискивался через Горнее место в шубе, с шапкой в руках, он шёл впереди, расталкивая народ, когда батюшка выходил кадить, он стоял справа, близко, за плечом, когда читалось Евангелие... Я долго, пристально, чутко смотрела и слушала, но это был не ангел. Это был старик с белой бородой, глазами-буравчиками, острым горбом и какой-то громадной, молодой, плотской силой, скрытой в нём.

До Рождества Христова оставалось больше суток. И двести старух, стоящих тесными рядами, плечом к плечу, на крошечном пространстве бывшего пивного бара, твёрдо знали, что в Сочельник, до первой звезды, крошечки хлебной в рот взять нельзя.

Дышать было нечем. Дверь храма была распахнута настежь, и батюшка поверх старух видел падающий снег, пронесившиеся мимо поезда, дорогу к Вифлиему и самый путь среди холмов к пещере, где через несколько часов Дева Мария возьмёт на руки нашего Спасителя. Тысяча девятьсот девяносто второй раз обновлялась, спасалась Земля этим днём, но впервые совершалось Рождество здесь, в Х., в 17-й республике нашего бывшего Союза.

Этого города не было на Земле, пока на ней шла хоть какая-то отчасти упорядоченная жизнь. Город возник, когда протянули здесь дорогу на север, и вдоль этой дороги появились две многокилометро-

вые улицы невзрачных, однообразных домов. На пустыре выстроили стекольный завод, и изо дня в день, из десятилетия в десятилетие люди этого города ходили на стекольный завод и делали банки и бутылки, бутылки и банки. Мимо проносились поезда, росли штабеля голубоватого стекла на заводском дворе – проходила жизнь. Но на счастье для этого места и для всех нас, почти в каждом здешнем дворе вилась старушка... Старушонка ли совсем дряхлая, рано ли состарившаяся одинокая женщина... Они-то в очередной раз и попробовали сдвинуть Землю в другую сторону: поднатужились – и получилось. Правда, как всегда у нас, несуразно, нелепо. Бывший пивной бар на свои кровные копейки старухи купили под храм. Им бы умело да с любовью помочь в этом: найти другое здание, да уж как выпило.

Вот и ждали они первой звезды: кутьи попробовать да пойти Господа встречать и славить. Но весь Сочельник шёл снег, звёзд не было. И, как потом выяснилось, двести старух крошки в рот так и не взяли. Звезды-то не было...

Они стояли в тесноте и духоте своего храма, почти ничего не помнящие, не знающие, но за всю их долгую жизнь это были лучшие минуты: они впервые встречали Спасителя, брали младенца Христа из рук Девы Марии и передавали друг другу.

Это видел батюшка, когда стоял лицом к ним. И это на мгновение было показано мне... А звезда была.

* * *

Исповедь шла бесконечно. Девяносто старух исповедовались в этот раз. Калисты, Градиславы, Харисесы, Христодулы, Фомаиды, Текусы, Синклитикии, Пиамы, Ксанфиппы... Слушая эти имена, я вдруг остро ощутила тайну и необычность этого места. Где я? Вечерами мы шли вдоль железной дороги, и проносящиеся рядом огромные составы доводили до слёз пугающей, нездешней железной силой. Было страшно от унылости, однообразия, от грохота составов, бесконечного снега... Около моста пейзаж менялся и приобретал уже мистические очертания. Сразу вспомнилось, что год назад, по сообщениям газет, именно здесь были зафиксированы десятки НЛО... И когда однажды не включилось радио, почудилось на мгновение: уже ничего нет, и только Х. вечен во времени и пространстве... С интервалом в семь минут шли поезда, на страницах областной газеты житель Х. Клавдий Хазов размышлял о жизни в статье под названием «Вернёмся к нашим баранам» – и мне показалось, что я никогда отсюда не уеду.

Но рядом со мной шёл человек, которого я каждое утро видела у престола в огненном столпе молитвы. И мне не было странно.

* * *

– Наденет на тебя белую длинную рубаху, выведет под первую звезду, и долгими полями, поднимаясь на холмы и спускаясь в овраги, по берегам озёр

и густым перелескам пойдёшь с ним рядом. И вброд станете переходить речушки и речки, и все звёзды успеют пролить вам свой свет, и не устанешь в этом пути. Да, наденет на тебя старец белую длинную рубаху и отведёт в келью из ясеня. Под окном кельи плещет серебром источник Смоленской Божией Матери, и люди ходят к этому источнику, и совершаются здесь чудеса, но никто никогда не заметит кельи из ясеня, не услышит твоего голоса... Ты же будешь видеть и понимать всех. А старец станет приходить редко: приносить пищу... – Монах замолчал, и мне стало страшно: так и будет.

Мы шли с ним на закате долгими затихшими полями, и только вздохи полей – холмы – обнаруживали ритм этого вечера. Вышли мы к огромному озеру, в затаённых глубинах которого просто и радостно отражался белый монастырь. Сотни бесов медленно двигались за нами и страстно ждали неверного слова, движения, взгляда: слишком рады были мы друг другу...

Я оглянулась беспомощно: многоликая бесстыдная толпа ликовала, празднуя моё смятение.

– Не смотри на них, – приказал мне монах, и вокруг меня заструился ручёек Инсусовой молитвы. Ближе нас не было людей на земле, и дальше нас – не было.

* * *

Я появилась здесь почти сразу после смерти Пушкина. В стоочередной раз пережив его смерть,

почувствовала, какой болотный, изнуряющий, сладковатый запах источает этот вечный юбилей. Уже с трудом удерживала живую руку Пушкина: меня оттаскивали от него, дразнили, окликали нечистые хриплые голоса – выманивали из 19 столетия сюда, к ним, в это день...

Я оглянулась в поисках спасения, услышала далёкий голос Кирилла Туровского и без оглядки, закрыв глаза, шагнула туда, к нему, в 12 век, страшась и радуясь до озноба сердечного: «Куда я?!»

И прижилась там, под его ласковой рукой, слушая и понимая слова тихих, шелестящих, как июльские травы, молитв, которые он записывал по почтам. Тихая, счастливая сидела в углу его кельи, и только кровь в висках повторяла эти новые ритмы...

«Злокозный же враг бесстыдно нападе на мя, воскрежета на мя зубы завистью и стрелою беззакония устрели мя... Много же брашася со мною и премогша мя... Очутих язву неисцеленну, взисках врача на земли и не обретох... Но к Тобе воспущу глаголы целебные от душа... Господи...» – всё это длилось па протяжении вдоха, но этот вдох спас мне жизнь...

* * *

Цель была определена в детстве: прожить так, чтобы в старости стать красивой, чтобы глаз не отвести...

Сейчас до старости как вот до того перевала, снежная и солнечная вершина которого будет последней. И я у цели.

Смотрю в зеркало – назад, на пройденный путь, и различаю будущее: вижу, что цель моя может оказаться недостижимой. Вот эти морщины, прорезающие просторный светлый лоб, как дороги столбовые, проложены на моём лице с детства. А эти, в уголках губ (у которых капитал улыбок и поцелуев нищенски мал), эти две всегда угадывались, предполагались, были неизбежны, и однажды, за какую-то ночь одну как две вечных родственницы после долгого отсутствия появятся и усядутся, согнувшись в креслах: две старухи, две скобки, в которых заключена жизнь... В общем, всё не безнадёжно: к старости мои мысли и желания, страдания, взлёты и падения, все сказанные и написанные мной слова обретут место на этом лице, завершат его скульптурный портрет. И только цель не будет достигнута: для этого не хватит света радости и покоя. Смотрю в зеркало, в этот немигающий зрачок времени – исправить ничего нельзя.

Правда, до старости ещё как во-он до того перевала, снежная и солнечная вершина которого так притягивает: глаз не отвести.

1984 год

* * *

Резким порывом южного ветра небо очистилось, и такая ненадёжная по нынешним временам синева и бездонность засияла над миром, будто помыли окна в большом, богатом, дружном доме и завтра праздник. Но на завтра опять пошли тучи с

запада на восток, а тут и грома́ подладились: стало постукивать, погромыхивать вдалеке – ещё не страшно, не про нас, но уже веселило душу ожиданием. Случалось, что всё это проносило мимо, как поезда дальнего следования мимо одиноких российских полустанков. Но случалось...

Случалось: воссияет с зари самой день, как первый в мире, как безгрешный, невиданный доселе. И Солнце молодое, и всё под Солнцем обновилось, и человек в такой день вместо вчера придуманных забот неожиданное занятие находит: прогулку по этому молодому миру, где кажется, что и сам-то ты ещё без греха...

Не рассказать ласку трав, целебную нежность воды озёрной, все встречи большие и малые в полях, в лесах, на дорогах, в оврагах. Кажется, и земля ещё не знает плоти человека, и всё это тебе в память, в обновление твоего прошлого и будущего...

Но самое главное событие этого дня – небо. Из сияния, света, ослепляющей глубины в течение нескольких часов рождаются лёгкие крылья облачков: пласты света перемещаются, перетекают с места на место, оставляя после себя почти неуловимые тени, из которых вдруг является пронзительная голубизна. И не успеешь опомниться, как в том краю неба, так далеко от тебя, эту голубизну начинает затягивать, как в воронку: синее, иссиня-чёрное и, наконец, фиолетовое свечение заливает тот далёкий край небес, а над тобой та же прозрачность, высота и сияние.

Но кто же обманется?! И вот уже опережая зарождающуюся грозу, в перегонки с нею осиливаю дорогу к дому, подгоняемая быстрыми гибкими молниями. Фиолетовый гул всё нарастает, рвётся расширится, обнять всё небо, настичь меня. На косогоре над озером первые крупные капли молодого дождя ударяют в спину. Останавливаюсь дух перевести! Над тёмно-синей, уплотнённой, беспокойной водой задышается громами, пляшет молниями фиолетовая, раскалённая плоть неба. А с другой стороны, над монастырём, ликующий, непобедимый свет растворяет всё, кроме радуги... Одной, двух, трёх... Вместе с грянувшим ливнем захлёстывает счастье: пять радуг! Такого просто не бывает! Небо и земля сливаются в один цвет – неназываемый, и четверть часа ликует молодой, будто первый на земле ливень. А я откладываю кисть: небу на моей палитре никогда не хватит правды Творца.

СТАТЬИ

19 января 1994 года

Что для меня переход из столетия в столетие? Переход в новое тысячелетие? Как я это ощущаю? Как давно это началось?

Как ни странно, я знаю точную дату: 19 января 1994 года. Я не пошла на ночную крещенскую службу. Часа в два ночи подошла к окну. Прямо под моими окнами шел крестный ход. Хоругви, крест, чаши с крещенской водой, множество священников и народ, народ – как вода лилась. С пением крещенского тропаря крестный ход вошел в мой дом. Стены дома расширились до космической бесконечности, немыслимое множество людей вливалось в мои комнаты, мощный хор пел: «Во Иордане крещающиеся тебе, Господи...» – и я была участницей этого вселенского действия.

И тогда и сейчас я знала, что это не был сон. Не через день и не через месяц начала я замечать, что жизнь стала обретать какое-то новое качество. Это трудно объяснить. Прежде всего, это иной ритм; скорость, с которой сквозь меня понесся фантастический свет, стала космической. Я давно ничего не проживаю в обычном понимании этого слова: просто почти в каждое мгновение дается мощный опыт, который я не всегда успеваю зафиксировать,

но который какими-то пластами опускается в глубь меня и становится строительным материалом для моей крови, сосудов, моих физических органов, моего сознания...

Я не живу в обычном смысле этого слова: сквозь меня ли проносится ниток света, я ли лечу с громадной скоростью сквозь пространство и время, которые стали едины: ни прошлого, ни настоящего, ни будущего – единый поток, плотность которого почти плотность камня: такая полнота времен, так все вместе и все рядом. Единство Бытия – вот, собственно, все, что я знаю о себе, о мире и том времени, которое наступило. Человека и пытаются сейчас научить этому единству Бытия, всеобщей связи каждого со всем. И я болезненно учусь жить в этом и с этим. Сама же себя я ощущаю одним маленьким стихотворением: всего 4 строки. И мне хочется, чтобы каждая буква этого стихотворения правилась Творцу.

*Сельцо Михайловское
3–12 июня 1999 г.*

В XVI веке

В XVI веке уже вплотную решался вопрос о месте будущего упокоения Александра Пушкина. Провидением Божиим, которым и все в жизни совершается, вороничскому отроку Тимофею на Спичней горе была явлена икона Божией Матери. И после нескольких чудес, происшедших с иконой, в 1569 году указом Иоанна Грозного на этом месте

был основан мужской монастырь с престолом в честь Успения Божией Матери. Именно эта гора, освященная Успенским собором, и должна была стать колыбелью для праха Пушкина – «солнечного центра нашей жизни». В этом основная причина создания монастыря в слободе Тоболенец, будущих Святых Горах. Шел XVI век. К этому времени Пушкины еще никак не были связаны с Исковской землей, но громадная работа, растянувшаяся на несколько столетий, работа по созданию Пантеона для будущего Российского гения, началась. Так исторически сложилось, что русские монастыри, в XIV–XVI веках особенно, стоял у истоков русской культуры: ее и зарождения, и оформления. У каждого монастыря была своя, достаточно определенная задача. Не случайно, например, 23 преподобных вышло из вологодских монастырей и пустыней. Идеал святости был необычайно высок в эти столетия. И Вологодская земля неустанно посылала своих подвижников в мир. Но ни одного большого подвижника не вышло из стен Святогорского Успенского монастыря. Шла обычная жизнь, иноки несли свой подвиг: каждый в меру своих сил. Может быть, и были тайные подвижники, но миру они не явлены, и о них известно только Богу. У монастыря была своя задача: 268 лет изо дня в день в монастыре совершалась Божественная литургия – могучая духовная энергия нарабатывалась в этом месте. И место это – Святые Горы со всеми окрестностями – готовилось быть колыбелью, основанием для русской души. Не только праху Пушкина

суждено было покоиться здесь, но здесь во всей полноте и глубине настаивался русский дух, здешняя природа обрабатывалась и одухотворялась до той полноты совершенства, которую способна вместить русская душа. Все оттачивалось: небо, пространство, деревья, птицы, земля, воды, душа человека, — все переливалось друг в друга, во всем искалась мера, соразмерность, созвучие, соучастие, совесть. А Пушкин придет потом — как человек, способный это вместить почти полностью и, соединившись с этой землей через слово, слиться с ней до конца: лечь в нее.

17 мая 1994 г.,
поезд «Москва — Петербург»
4 июня 1994 г., Бугрово

На полках нездешних библиотек

Подлинное творчество нескольких тысяч из миллионов замученных в сталинских лагерях не исчезло и исчезнуть не могло. Замыслы, не реализованные в печатных текстах, были реализованы на скрижалях информационных, более тонких, существование которых никто отрицать не посмеет.

Искра Божия, которая была в каждом из творцов, в момент мученической кончины давала мощную вспышку, высекала такой пламень, в котором и происходила материализация их замыслов. А замыслы были необычайной силы и красоты, и в каждом слове дышал Господь.

Книги эти стоят на полках нездешних библиотек,

вливают на нас оттуда... И мы, как ни странно, по-своему прочитываем эти книги. Но придет время, когда читать их можно будет почти обычным способом: по типу дискеты, вставленной в компьютер...

Только это будет зависеть не от развития техники, а от развития души.

Рождество Христово

Несколько тысяч лет назад Вселенная была потрясена мощнейшим энергетическим действием, по силе сопоставимым с моментом Творения. В это действие, как в некий космический танец-хоровод, было вовлечено всё: напряглись и соучаствовали миллиарды солнц и планет, миллиарды живых душ живших когда-то людей и не только людей... В этот хоровод были вовлечены самые крошечные песчинки Галактик, которые никогда не будут открыты человеком. Вселенная напряглась до предела: шла работа – Господь посылал на землю Сына Своего, чтобы сберечь жизнь во Вселенной и попытаться помочь человеку уйти с пути самоуничтожения.

Эта отчаянная попытка Творца спасти жизнь через преображение человека совершалась с такой любовью, что в тот момент и сам Творец верил: сим – победит!

Вот что такое Рождество Христово, а не сказочная история о младенце в яслях, «пришедший в мир грешный спасти».

Если мы не будем понимать и постигать вселенский смысл прихода к нам, конкретно к каждо-

му из нас, Сына Божия – мы потеряем последнее. Мы выпали из вселенского смысла-замысла Господа о нас. Выпали и с помощью вероучений тоже. Уменьшили всё самое главное до каких-то игрушечных размеров, включая и самих себя. Мы потеряли масштаб и вместе с ним цель и цену жизни вообще и человека в особенности. Сегодня надо восстанавливать и подлинный масштаб, и эту связь.

Господь к нам сегодня близок как никогда...

Но как пристально Ты смотришь в глаза, Господи...

Музыка...

Если бы меня настигла музыка – меня бы размыло, развеяло по уголкам Вселенной. Для музыки, как ни странно, нужны здешние корни. Те музыканты, у которых эта укорененность была слабой (как у меня), мучились всю жизнь, перетекая из нервного срыва в следующий, и рано уходили.

Я не позволила себе пережить музыку из страха быть уничтоженной. Всегда с раннего детства испытывала необъяснимый страх перед погружением в нее: я могла только соприкасаться с ней. А иногда так тянуло – как в бездну.

Источник и музыки, и слова – Там. Но музыкант должен иметь корневую систему здесь – иначе будет смыт собственным звучанием. Поэт же – дерево с перевернутыми корнями. И если поэт, по трагической ошибке, имеет здешние корни – такое

слово бесплодно. В Музыке не быть – невозможно. В Слове нужно – не Быть.

Может случиться, когда придет время уходить с Земли, я бы и хотела открыть все шлюзы и преграды и раствориться в великой музыке – уйти через нее: истончиться до ее вибрации. Но для меня это очень похоже на самоубийство. Правда, можно немножко обмануть себя и решить, что это просто совпадение срока и способа: лечь, как в колыбель, в какую-нибудь из сонат Бетховена и уплыть в ней отсюда.

Вечер 27 мая 2004 г.

Обсерватория

Смутно угадывались очертания когда-то осмысленного пейзажа. Но громадные сосны и кедры были замучены каким-то страшным воспоминанием, хотя и не вымерли, как динозавры, и продолжали расти, но по другим законам: пугающим, разрушающим красоту... Переставшие помнить себя капитаны сбросили на гигантские ели свои свечи, и зрелище это вселяло ужас. Гигантские травы прочной зеленой сетью затянули, заткали по самые крыши дома, и плен этот был вечным. Долгие всех держались белые башни телескопов, но и сквозь них тут и там тянулись в небо гигантские беспамятные деревья и цветы, аромат которых можно было собирать во флаконы сачком и продавать на самых модных аукционах вселенной...

Давно, в незапамятные времена, шло здесь каждодневное действо: служение небу. Среди молодых сосен и лип по вечерам можно было слушать музыку раздвигающихся куполов телескопов, и в небо смотрели их пристальные очи, умеющие разглядеть далекие галактики... Небу служили травы, деревья, птицы, книги, люди, дети, музыка, стихи – все в этом месте служило небу. Такие места и правильный ритм жизни в них являются узловыми точками земли. Определяют не количество научных открытий, а нравственный поток, который изливается отсюда в обычный мир, делает его стабильнее и радостнее... Только не слишком далеким людям может показаться, что астрономы заняты вычислениями. Через них, через чистоту их душ и помыслов приходит на землю Свет. Я лежала на Сель-Бухре поздно вечером и смотрела в небо. Через несколько минут среди звезд началось странное хаотическое движение, и в следующее мгновение я увидела в небе гигантскую звездную фигуру, полностью повторяющую очертания (NGC 1975), – звездный человек бежал мне навстречу, протягивал руки, и я отважно протянула навстречу свои...

Когда открыла глаза – надо мной сияла привычная и такая надежная в своем постоянстве красота крымского ночного неба. А прямо передо мной в мягком скудном свете лежала Обсерватория. Как белый вздох, как застывшая счастливая мысль любознательного ребенка, обозначенная этими куполами, которые хотелось поцеловать... А под ними, в их священном холоде, среди звездного шороха, работали красивые люди.

Даниилу Андрееву

На мировом культурном пространстве соприкоснулась почти со всеми, кто его населяет, но жила рядом с немногими. Пушкин на своих плечах принес в мою детскую почти всю литературу мира: та громада, которой он завалил мою детскую, была даром буквально библейским: бери, что сможешь, — на жизнь хватит. Дары Пушкина лично мне неисчислимы: его человеческая заинтересованность в моей жизни, в моем даре поражали меня с детства. Он спас мое сознание и свободу. О большем умолчу. Но дыхание мне ставили другие: Лермонтов и серебряные колокола — голоса поэтов начала XX века.

Дыхания этого хватило на разбег, на начало, на разгон, но когда все состоялось, вместо полета явилась свинцовая нечеловеческая тяжесть: все чаще какой-то глубинный вселенский гул нарастал во мне и как океанская волна шел сквозь меня, готовый разорвать изнутри.

Он нес с собой всю боль, нищету, кровь, ужасы и падения этого века, и я была ко всему этому катастрофически причастна. Я жила, должна была жить в этой катастрофе, не умея преодолеть ее. Ни легкий огонь вдохновения, ни серебряные колокольцы не могли совладать с этой вселенской пугающей мощью... Не только писать — жить было почти невозможно. Я глубже погружалась в слово (защищаясь), но тем мучительнее было видеть какой-то массовый исход из слова, исход, который грозил

России гибелью. Ведь все, что в России состоялось, было, с глубокой древности, обязано появлению русского стиха. ...Я жила наедине с этим гулом, в коконе собственного стиха, жила, умирая от одиночества, в самом эпицентре катастрофы. Из последних сил оглянулась в поисках поддержки: нужно было знать, что есть кто-то, кто вынес этот гул, кто знал этот напор как судьбу, как музыку... Мне необходим был человек, который пережил это в тысячекратно большем размере. Только зная его, я могла вынести, пережить и свою долю... Я еще раз оглянулась в поисках поддержки, в поисках этого человека, но на всем пространстве русской поэзии XX века никого не увидела... К 198-какому-то году жить с этим стало почти невозможно. А потом случилось: оказывается, он давно уже шел мне навстречу. Мы встретились, я взяла из рук его открытую книгу и фантастический опыт преодоления, опыт, отсутствие которого так измучило меня, хлынул с каждой страницы. Опыт преодоления был предельным: каждая темная точка, каждая капля крови, каждое предательство, всеобщее богоотступничество, все застенки, войны, ужасы и мрак нашего века были преодолены и преобразены в слова, которые искрами света разлетались во Вселенной. Слово вернулось, преобразенное этим опытом.

Опыт богосотворчества светился в жизни, смерти и творчестве этого человека. Теперь я понимала и знала, что мне делать дальше, чего от меня хочет Господь. Я успела поклониться этому человеку, и он

прошел мимо и на своих плечах пронес русскую литературу в грядущие столетия. Пушкин спас меня в детстве. Даниил Андреев спас меня в мои 37 лет. Великая благодарность обоим.

Июль 1997 г.

Рыцарь-женщина – Алла Андреева

Я знаю рыцаря-женщину. У нее прямая, неспясаемая спина, большие сильные руки, на ее прекрасном лице голубые, давно невидящие глаза... Идет она легко, быстро – почти бежит, не касаясь земли. И огнедышащее время все девяносто лет ее земной жизни пытается опалить ее белую рыцарскую мантию.

Она служит великому Поэту, и так же, как у него – в ее сердце безупречная любовь ко Христу и к России. Но чтобы свершилось все до конца, чтобы помочь Павне и Яросвету, помочь всем нам и уже никогда не разлучаться с Поэтом – рыцарю-женщине надо было перейти огненную реку.

И шагнула она в огненный поток у меня на глазах, и содрогнулась душа моя и возопила к Богу: «Зачем так, Господи?!» И был мне ответ через апостола Марка: «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, вложив в сокровищницу»...

А через несколько мгновений грянул хор: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»... И каждое сло-

во открывалось для рыцаря-женщины своим глубинным прямым смыслом...

Душа ее, омытая огнем, ликовала с сонмом ангелов, и только мой ангел плакал, уронив голову мне в колени...

*Ночь с 6 на 7 мая 2005 года
Поезд «Москва – Воркута»*

**Святослав, Ванюша, Васенька,
я люблю вас!**

«Господи, спаси, сохрани и помилуй папу, маму, Сятика, Васеньку»... За стеной привычной скороговоркой молится трехлетний Ванечка, а я, падая от усталости, домываю посуду. Деревня спит. Пятилетний Святослав уже помолился на ночь, а Ванечка припозднился и теперь торопится: «Дедушку, бабушку, еще дедушку, бабушку»... Пауза и вдруг ликующим счастливым голосом: «Вайсочку! Господи! Я ее люблю даже до неба!» И меня заливает тепло его благодати, его любви...

Дорогие, любимые мои мальчики: Святослав, Ванечка, а теперь еще и Васенька... Святославу только исполнилось три года, а Ване три месяца, когда я впервые их увидела. Добираться было трудно: сначала автобусом, потом меня встретил Игорь, и мы брели двенадцать километров по глубоким снегам через лес без тропы. И был январь, минус двадцать, и солнце. Запомнила я этот путь: сумки тяжелые, на мне шуба... Прошли восемь километров, выбрались на дорогу, шуба мокрая насквозь... А на дороге ждал

нас конь, укрытый старым рваным одеялом, по имени Соловей. Пока ехали оставшиеся четыре километра, замерзли, заledenели на ветру, но недалеко от дома стала я снимать шубу и переодеваться в старинный сарафан, сшитый по лекалам семнадцатого века. Очень красивый, расшитый серебряными прошивами. «Что ты делаешь, заболеешь!» – ругали меня и Игорь, и хозяйка Соловья, Надежда. Но я иначе не могла. Я взяла этот сарафан специально: впервые предстать перед Святославом и запомниться ему на всю жизнь. Хотелось поразить его с первого взгляда.

Мы подъехали к дому на закате. Огромное багровое январское солнце проваливалось за деревья парка. Снег искрился всеми оттенками радуги, от Соловья валил пар, а в окно дома, прижав нос к стеклу, смотрел на мир огромными темными глазами трехлетний Святослав...

Я шагнула из саней, сбросила с плеч шубу и пошла по искрящемуся снегу в своем удивительном сарафане. Вошла в дом и легла на пол. Святослав осторожно ходил вокруг меня, а я подсматривала за ним сквозь щелочку глаз, и громадное, незнакомое мне доселе ощущение чуда выросло во мне. «Ты откуда?» – «Я шла к тебе по глухому лесу»... Я рассказала ему сказку о своем путешествии. Он слушал, как завороченный... Мы обнялись и с той минуты любили друг друга.

Потом заплакал трехмесячный Ваня. Я взяла его на руки, посмотрела в глаза, и присутствие нездешнего высшего мира было мне наградой. Он был мудр и всезнающ, он знал такое, этот трехмесячный

Ванечка, к чему я только приходила, а вернее сказать – возвращалась. Как-то сразу стало ясно, как строго, ответственно, как целомудренно надо вести себя в присутствии этих младенцев.

И началась жизнь. В крошечной деревянной церкви Успения Божьей Матери служил отец Игорь, а матушка Ксения – моя племянница – одна пела и читала на клиросе, одной рукой качая коляску с маленьким Ваней. Народу в храме было мало. Святослав уставал от долгих служб, а когда отец Игорь выходил из алтаря и спрашивал: «Исповедники есть?» – часто случалось, что только один Святослав и отзывался: «Есть, батюшка». Игорь, склонившись к нему, что-то ему долго выговаривал. Святник поворачивался к прихожанам: «Плостите, плихожане, мешаю молиться... Господи, нлости, плохо себя веду в хламе»...

Он был такой маленький, худенький. С маленьким личиком и огромными глазами. Ему еще не было трех лет, когда Игорь взял его с собой в Лавру. Идут к храму, а навстречу владыка в облачении. Игорь подошел, благословился, взял Святика на руки: «Благословляйся!» А тот, не отрываясь, смотрит на сияющую митру владыки. «Благословляйся, мальчик!» – Владыка сложил руки, показывая, как должен сделать Святослав. И тот поднял правую ручонку и медленно торжественно произнес: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!» – благословил владыку. Долго смеялся владыка и приговаривал: «Ну и сынок у вас, батюшка! Кем же он будет?»

Я захожу в комнату: маленький Святик сидит на горшке, очень грустный, и говорит: «Увы мне. Свет моих очей потух – мама ушла за водой»...

Мы читали, гуляли, баловались, играли в разные игры. Вечером я залезала на русскую печку. Ксения подавала мне маленького Ваню, Святик садился рядом, и мне приходилось без устали сочинять сказки: про сушеные яблоки, которые висели в мешочке, про валенки, про мясорубку... Когда я уставала, Святик говорил: «Буду петь поглечески» – и пел на своем «глеческом» языке очень выразительно. Ему до шести лет не давалась буква «р». Я была у Святика Лалинской, а у Ванюшки, когда он подросток, – Вансой.

Бредем по глубоким снегам парка, по тропе. Святка ушел вперед с налкой: «Я Александл Невский»... – сражаться пошел. Вдруг выскакивают две громадные собаки и бегут с двух сторон к Святославу. Я пугаюсь, а он громко запел: «Боголodiца Дево, ладуiйся!» – пропел всю молитву, а на собак даже не посмотрел. А они сели по обе стороны тропы и молча позволили нам пройти. «Я так испугалась, князь, когда собаки прибежали»... – «Батюшка научил: увидишь собак – запевай Боголodiцу». Теперь и Ванюшка так делает.

Я без устали стираю Ванечкины пеленки, а Святослав пристает: «Сколо ты?! Дочитай мне нло Иголева полка» («Слово о полку Игореве»). Бой, война, героизм, подвиг – все военное приводит его в восторг. Такой маленький, хрупкий, музыкальный – и все время в бой...

Держу Ваню на руках, Святик из другой комнаты кричит: «Лалиска! Звони сколей! Вызывай богатыля! Таталы нанали на лусскую землю!» Звоню: «Скорее, богатырь! Татары нанали!» Идет и бьется с татарами. Потом немцы напали, потом шведы... И я вдруг неожиданно для него как закричу: «Да будет когда-нибудь покой на русской земле!» А он сразу: «Покоя не жди!»

После ужина: «Мама, я волк деселтный. Я бы с удовольствием съел сгущенки». Просыпается утром, лежит, не открывая глаз: «Лалиска, сегодня следа или пятница?» – «Четверг». – «Ула! Сыла дадут!»

Бывает, самозабвенно играет один. Выхожу во двор, а он сидит на поленнице, подперев щеку рукой, с мечтательным выражением на лице, рядом пасется коза Марта. «Святослав, иди обедать!» – «Я не Святослав, а Елена Плекласная, а это (показывает на козу) – Иванушка-дулачок, и мы уже пообедали».

Переваливается зимой в шубе через высокий порог, весь в снегу: «Матушка, там покойника пливезли, самому отпевать или поможешь?» «Да отпевай уж сам, батюшка, мне Ваню надо кормить», – говорит Ксения. «Со святыми упокой...» – запел сразу и полез через порог.

Полотенце через плечо, в руке старинное ботоло – колокольчик для коровы... «Паки и паки – милом господу помолимся...» – это любимая игра и у того и у другого. Один раз «кадил» особенно старательно, от всей души призывал: «Паки и паки...»

А мы на кухне заняты, не обращали внимания. Он не выдержал, заходит и говорит: «Неужели нельзя сказать: «Господи, помилуй!»»

«Мама, я заголоднел!» Редко так бывает. Очень плохо ест.

Вот уже и четыре года Святику. Рассказываю о нем всем своим друзьям. Перед очередной поездкой к детям приходит знакомая девушка Таня и говорит: «Расскажи Святославу мою историю, спроси, что мне делать». Приехала я, попросил он сказку рассказать, вот я и начала: «Жила на свете кошка Таня. И был у нее кот Константин. Табак курил, подарков не дарил, денег у него нет, все разбрасывал, мусорил, но добрый был, несни пел. А кошка Таня устала ему обед готовить, убирать за ним. Сидит и плачет кошка Таня, не знает, что делать»... «Как что? – говорит Святослав, – телпеть. А денег нет – пусть он глядку сделает. Умный ведь кот Константин...» Поговорили мы утром про кошку Таню, а днем вдруг подходит ко мне Святослав и говорит: «Таня, а Таня, это я, кот Константин. Я тебе подаю плинес». И протягивает кубик и зеленый плюшевый хвост от старого зайца. «Что это?». – «Это зеленая лоза и духи» (роза и духи). – «Спасибо, Константин». – «Ты лада?» – «Я рада, но я еще хочу», – говорю я канризным голосом кошки Тани. «Что ты хочешь?» – «Ананас и в Грецию слетать». Он серьезно посмотрел на меня и серьезно сказал: «Эх, Таня-Таня! Нет у меня денег на ананас. А в Глещию лететь ни клылышек, ни пелышек нет».

Растут мальчики. Иногда играет Святик с Ваней, иногда и обидит. Один раз увидела я, как он украдкой стукнул Ваню кулачком. Рассердилась я больше меры, схватила Святослава и выставила в коридор. Он плачет. Мне через минуту стыдно стало. «Святослав, прости меня». — «Бог простит. А я-то плошаю. Но встала ты неледо мною, Лалиска, как Вавилонская башня! Видишь, как с человеком об-лащаться можно, что он на тебя и смотлеть не захочет». С тех пор, как что не так сделаю, так чувствую себя Вавилонской башней. Заболеть можно от такого ощущения.

Осенью идем поздно вечером гулять. Темно. Небо темное, редкие звезды. Держит меня за руку. «Плидешь, Лалиска, в длугой раз, обвенчаемся. Пола мне жениться, а всех жен холоших лазобла-ли»... Горжусь.

Стоит голенький, как-то чувствует свои острые лопатки, удивляется и говорит: «У меня, как у длакона, клылья, что ли, ластут»...

Растет. Говорит как-то: «Лалиска, что такое? Плошу у Господа: дай мне сон милен (мирен), а мне кошмалы снятся»...

И Ванюшка растет, пробивается к слову, трудится. Такой великий труд, такая тайна в этом... Крепенький, светлый, большие голубые глаза, добрый, любит все живое: «Курекука». Только научился ходить как следует, утром встает, сам молча одевается. Все снят, а он идет в курятник и несет яйца, еще горячие. Протягивает и с таким удивлением говорит: «Пиставляете, яйца!» Всегда готов помочь.

защитить. А Святку заставлять надо. Однажды ходила на пруд полоскать белье. Святослав со мной. В его маленькое ведерочко что-то сложила и попросила донести. Не хотел. Хныкал, но донес и говорит: «Надолвался». – «Давай полечу». – «Лаз уж надолвался, то уж никак не исплавить. Не столкнешь надливку-то».

«Ты почему бледный такой, Святослав?» – «Это я глаза сбледнил».

Эх, Святка-Святка... «Один лаз я Ване подмыслил такую мысль: сгони кулицу с гнезда. Он и взял палку, глупый»...

Нарисовал Святослав мой портрет, потом говорит: «Налисую на полтлете Лалисны чувствительные клетки, котолые чувствуют боль и легкость». И нарисовал два зеленых квадрата на щеках. Прошу иногда нарисовать мою жизнь. Рисует очень интересно... А я написала им стихотворение:

За полями, за лесами,
За веселыми ручьями,
За плескучими морями,
За мостом, что сроду Ашчиков,
Под кустами барбариса
Живет девочка Лариса,
Тетка Святослава с Ванечкой.

Две собаки, лошадь с телкой,
Питка белая с иголкой,
Две тетрадки, дырка в зонтике
Странный дом ее не портит.

Вечером на чай без пряника
Приходили кот с племянником,
Мышь в очках да белка Любочка,
Змей-Горыныч, заяц с дудочкой
Да коза по кличке Лапочка,
В белых варежках и тапочках.
Самовар кипел-насвистывал,
Скатерть постелили чистую,
Чай сварили в медном тазике,
А сервиз был из Японии...
Вдруг сюрприз на чайном празднике –
Весть пришла из Пошехонии:
Едут Святослав и Ванечка
И везут мешочек пряничков!

Змей-Горыныч в три головушки
Голосит, как тот соловушка,
Заяц задудел на дудочке,
Мышь в очках целует Любочку,
Кот с племянником раскискались,
А коза по кличке Лапочка
Ну гоняться за Ларискою,
Сбросив от восторга тапочки, –
Рады все, что Святик с Ванечкой
Привезут мешочек пряничков.

Приезжайте, Ваня с Святиком,
Приезжайте братик с братиком.
За мостом, что сроду Аничков,
Под кустами барбариса
Ждет вас девочка Лариса,
Тетка Святослава с Ванечкой!

Когда моя мама, их прабабушка, поехала к ним, я записала стихотворение на пленку. Отдала маме кассету и попросила, ничего не объясняя, включить маленький магнитофон, когда дети будут играть. Они играли на полу, на ковре, когда мама незаметно включила магнитофон и полился мой сильный своеобразный голос. Дети перестали играть. Маленький Ванечка заплакал, а Святик встал, послушал и крикнул: «Лалиска, выходи!» Но я не вышла, а голос мой продолжал звучать. Святослав сжал кулачки, топнул ногой и закричал: «Выходи, Лалиска, кому говорят!» Увы... Он закрыл лицо руками, дослушал, подошел к Ксении и сказал: «Матушка, что мне делать: у меня Лалиска пелед глазами»... Я очень пожалела об этом, когда все узнала. Это был урок. Голос – полнота присутствия человека. И нельзя было так поступать. О, они меня многому научили. Больше, чем я их, это уж точно.

Спорим о чем-то со Святославом. Я говорю: «Если я права, то ты мне три порции мороженого покупаешь». Он: «У меня же денег нет». – «Ну хорошо, три раза поцелуешь меня». Я оказалась права. Он один раз поцеловал меня. Я: «Три раза надо». Он: «Никто слазу по тли моложенных не ест».

Вот и Ване уже три года. Любит читать про богатырей. Вчера читали про Илью Муромца, а сегодня он вдруг говорит: «Путятиншна, уходи с колен, тяжело девжать».

Такой любимый, добрый, ласковый Ванечка. «Ванюша, что такое постный день?» – «Беда!» А

Святослав из своего угла: «Ванюшка, глупенький, постный день – это плаздник для души»...

Плохо вел себя Ванюша в храме. Дома спрашивает Ксения: «Ваня, ты хорошо себя в храме вел?» – «Плохо». – «Наказывать надо?!» – «Надо!» – «Выбирай: не нойдешь гулять, ремешком по попке дадут, в угол поставят или сладкого неделю не есть?» Думает. «Сладкого не давайте». – «Хорошо. Неделю без сладкого и по три земных поклона в день». Пообедали. Чай пьем. Ваня сам беспокоится, чтобы ему чай без сахара дали: «Вы не забыли, мне же сладкого нельзя». Святослав думал-думал и говорит: «Мама, а что если и мне с Ванюшкой сладкого не есть?» – «Ну, Святослав, Бог тебе внушил такую мысль. Если вдвоем, то только два дня без сладкого». За ужином Святослав законючил: «Конфетку хочу». – «Как, ведь ты решил вместе с Ваней сладкого не есть!» – «Все равно хочу!» Ксения молча положила перед ним горсть карамели. Он взял конфетку, и началась страшная мучительная борьба: лицо исказилось, он боролся со своим животом, со своим чревоугодием. В последнюю минуту он швырнул от себя конфетку. Через два дня мы их поздравляли.

Как-то Ваня обиделся на Ксению. Ходит, в пакет вещи свои собирает, игрушки. Уезжать собрался. Святослав жалобным голосом ему говорит: «Ванюшка, ты на маму обиделся?.. Да кому ты еще такой безоблазник нужен! Не уезжай!..» Но Ваня собирается. Святослав почти плачет: «Не уезжай, Ванюшка! Я тебе подалок подалю!» Ваня молча собирается. Святослав плачет все громче и горше: «Ну

Ванюшка! Блат! Не у-ез-жа-а-ай!» И рыдает. Ваня: «Ладно! Вади бватской любви остаюсь!» Ваня все еще вместо «р» говорит «в».

Слышу, молится Ваня: «Пвеподобный Севгний, помилуй нас гвешного».

Я заболела, лежу, мучаюсь: «Святослав, помолись за меня». – «Мне некогда, я клепость стлою». И тут же упал со своей крепости и набил шишку под глазом. Поплакал и приходит ко мне, приносит игрушку: «Лалисочка, это тебе... И это тебе... И это... И комнату эту тебе подалю...» – «Какой ты добрый, Святослав!» – «Это я с сегодняшнего дня». А чуть позже говорит Ксении: «Мама, у меня сегодня в селдце любовь и доблота». Какую хорошую шишку набил!

Продолжаю болеть. Прошу убрать игрушки. Не хотят. Взяла ремень: «Кто будет убирать, того поцелую, кто не будет, того ремнем». Святик убирал, Ваня нет. «Ну, подходите за расплатой!» Не успела я опомниться, как Ваня шагнул ко мне и крепко поцеловал в губы – обезоружил.

Теленок должен появиться у коровы. Ваня: «Ува! Ува! Будем с теленком жить!» А по-неместному: «Гип-гип-ува!»

Ваня строит что-то из кубиков. Святослав подходит и говорит: «Мой нликаз – стлоить клепость!» Ваня спокойно: «Я не квенняк. Я домняк и хвамняк» (то есть дома и храмы строю).

Спрашиваю: «Ванюша, что такое Любовь?» Смотрит в глаза и говорит: «Любовь, Ваиса, это такая жизнь (пауза) ...ласковая»... А ты, Святослав,

как думаешь?» – «Любовь – это такая длинная дорога к Богу, и узкая». (Ура! Буква «р» вырвалась из плена!) Но как он уже обусловлен, Святослав...

«Ваня, а что такое творчество?» – «То место, где ковошь (король) живет». – «А путешествие – что такое?» – «Путешествие – это космос».

Во время поста великого на службе Ваня вдруг на весь храм: «Вайса! Что такое... Иду и вижу: икона колбасой пахнет!»

Читаю ему «Сказку о рыбаке и рыбке». Слушает стоя, не шелохнется. Кончила читать. «Вайса, я буду Пушкин!» И кричит Ксенин на кухню: «Мама, ты не возважаешь?»

Лежит утром рядом со мной, только проснулся, смотрит внимательно, а я переживаю, что, наверное, после сна плохо выгляжу. И вдруг говорит: «Вайса! У нас никаких замужей нет! Я на тебе пвосто женюсь!» (И это «пвосто женюсь» ликующе-победным голосом). «Ты будешь моя матушка, а я буду твой батюшка». – «А что я буду делать?» – «Всякую ваботу ваботать». – «А ты?» – «А я буду свужить в хваме и пвенодавать догматическое (от меня ускользнула трансформация этого слова) богословие. Но иногда буду твой помощатель. Бывают же батюшки-помогатели».

Все время собираются со мной уехать, убежать. Завтра я уезжаю. «Ты нас с собой возьмешь?» – «Возьму». – «Ты нас с собой мечтой возьмешь?»

Когда меня нет, на любой прогулке, как только Ваня увидит чайку, он кричит: «Смотвите, смотвите! Вон Вайса полетела!»

Пьем чай. Он подходит: «Ванса, душа, цо пьешь?» Идет вокруг стола: «А ты, душа Святя, цо пьешь?»

А скоро и Васенька появился. Здравствуй, Васенька! Маленький болел, плакал. Ванюшка ему ножки целует, гладит его: «Мама, как я таких маленький люблю и святых!» – «Ванюша, что тебя больше всего радует?» Показывает рукой в небо. «Что?» – «Сама догадайся». – «Ну не могу, что?» – «Б... О... Догадалась?» – «Нет». – «БОГ». Это любимое слово теперь и у Васи. Он смотрит на икону и самозабвенно, радостно произносит: «БОГ».

Приехала в сентябре 1999-го. Ване месяц до четырех лет. «Спой песню». Запела почему-то «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Сидят втроем на диване, слушают. Чувствую, тяжела им эта песня: не берет он ее с собой, а мальчики переживают. Но делать нечего, допела. Утром Ваня приходит на кухню и говорит требовательно: «Мама, пой «Миленький ты мой»... – «Зачем?» – «Пой!» Ксения запела: «Миленький ты мой, возьми меня с собой»... – и тут Ваня как закричит: «Беvu!» Я была потрясена: он сутки не находил себе места, как переменить несправедливую ситуацию, и придумал: беру! И этим «беру!» переломил эту ситуацию для всех женщин в мире.

Святослав учится играть на скрипке. Ваня спрашивает: «Ванса, на чем богатыви игвають?» – «На гусях». – «Буду учиться игвать на гусях». Богатырь!!!

Эмоционально очень говорю Ксении: «Быть женщиной в нашей стране – героизм, а быть жен-

щиной-поэтом – какой-то *нечеловеческий подвиг*». Подчеркиваю интонацией два последних слова. А дети рядом играют. Вдруг идет Ваня, глаза полны слез, и требовательно, серьезно говорит: «Ванса! Будь пвосто гевоем!» – «Ваня, почему ты так говоришь?» – «Мне тебя жа-а-авко!» И заплакал. А плачет он редко...

Ксения наказала их за дело. Ваня надулся, сел в угол и молчит. А Святослав, которому уже шесть лет, горько-горько плачет и приговаривает: «Господи! Я знаю, что за все надо благодарить... Благодарю тебя, Господи, за то что меня так больно наказали, – и залился пуще прежнего. – Благодарю тебя, мама, за то что ты меня так больно наказала, – все это сквозь поток слез. – Благодарю и тебя, бабушка Шура», – и так плачет – душа разрывается, – совершает духовный подвиг. А Ваня сидел, надувшись, в углу и вдруг говорит: «Пвидется, когда вывасту, вас наказывать». Пауза. Святик запричитал: «Господи, яйца курицу учат... Еще и яйца курицу учат!» – и захлебывается слезами. Бабушка: «Так, Ваня, ты вырастешь, я буду совсем старенькая, ты меня наказывать будешь?» Ксения: «Я тебя кормлю, играю, читаю – ты меня наказывать хочешь...» Ваня помолчал: «Что, и пошутить нельзя?!» Встал на колени: «Пвостите, Хвиста вади»...

А в другой раз Святослав Ваню обидел, потом долго просил прощения, но потом все-таки сказал, отвернувшись, нехотя: «Бог нвостит!» Инцидент был исчерпан. А вечером, когда сидели за круглым

столом, я взяла карандаш вместо микрофона и стала брать у них интервью: «Хочу задать вопросы Ване. Скажи Ваня, что ты больше всего ценишь в людях?» – «Севце». – «А что тебе не нравится в людях больше всего?» – «Гвязь». – «А что ты любишь делать больше всего?» – «Помогать». – «А что не любишь?» – «Развлекаться». – «А что тебя радует в жизни больше всего?» Заулыбался: «Ма-а-а-ма». – «Спасибо. А теперь я хочу задать эти вопросы старшему брату, Святославу». Но Святка вдруг сказал с большим чувством: «Лариса, я не могу отвечать на эти вопросы после того, что я сегодня утром совершил!» (Вспомнил, как обидел Ваню.)

И последнее на сегодня. Я прислала телеграмму. Мне в очередной раз отказали в визе в Австралию. Ксения прочла телеграмму вслух. Святослав сказал: «На все Божья воля». Ваня закричал: «Ува! Ваисочка никуда от меня не денется!»

Дорогие, любимые мои мальчики! Каких только ласковых слов я вам не наговорила! Так огромен каждодневный, каждоминутный жизненный подвиг, который вы совершаете! Сотворцы Господа, соработники Его, гении Жизни, Свободы, Любви, Творчества! Священные служители Жизни! Кланяюсь вам низко, а через вас кланяюсь и всем детям, которые живут сейчас на земле. Дети – наше будущее? Нет, дети – это наше настоящее. Они уравнивают нашу несвободу, нелюбовь, наши страхи, грязь, безверие, неспособность обрести себя, их работа по освоению мира,

языка, сознания – так громадна, так созидательна, так полнокровна, что нам надо учиться у них работать, творить, любить, быть свободными, общаться с Богом. Ранним утром, осенью, зимой везут на санках малышей в детские сады, бредут первоклашки со своими тяжелыми рюкзаками, и я благословляю их всех, кланяюсь им и желаю им счастья.

Святослав, Ванюша, Васенька! Спасибо вам! Я люблю вас! «Господи, спаси, сохрани и помилуй Святослава, Ивана, Василия и всех детей на земле».

*Ваша Лариса Патракова
3 декабря 1999 г.
Всенощная на Введение
во Храм Пресвятой Богородицы*

**Р.С. Дорогие, любимые Катенька, Мишенька –
здравствуйте и вы!**

Содержание

«Всем, кто верил, когда сама...»	4
«Многоголосье жаркое похвал...»	5
«И я живой сосуд из старых глин...»	6
«За туманами деревню узнаешь?...»	7
Плач матери	8
Речь Дмитрия Донского перед началом битвы	9
«В который раз в дорогу соберусь...»	10
«Не вспоминай – не мучайся началом...»	11
При посещении разрушенного монастыря	12
«По самому краю четырнадцатого столетия...»	13
Ферапонтово	14
«Ночь, размытость чутких линий...»	15
«Перчатки, слепок рук крылатых...»	16
«Такая прозрачность осеннего воздуха...»	17
Собору Рождества Богородицы	18
На лесах собора Рождества Богородицы	19
Дионисию	20
«Долиной плача проходя однажды...»	21
«Какое слово мне не угадать...»	22
«Бесстрашно, сиротливо, одиноко...»	23
«Жизнь поэта – мера пребывания...»	24
«Помру, и некому читать Псалмы...»	25
«Стихи – старухи с древними очами...»	26
«Стихом огонь случайный укротить...»	27
«Что надобно тебе?» – она спросила...»	28
«Ничего не хочу! И богатства не надо...»	29
«Декабрь в деревне темен и суров...»	30
«Я у судьбы выпрашивала встречу...»	32
«И завтра Спас...»	33
«Всё Спас, всё яблоки, всё торг...»	34
«Вот и Спас без яблочного запаха...»	35
«Гулко падает томный плод...»	36
«Скорбное сердце движением губ не утешить...»	37
«Из одного источника течет ли...»	38

«В тишине прогремит гроза...»	39
«Все ветры здесь, и тянет сквозняком...»	40
«Мне посоветовали умереть...»	41
«Тени плясали, как волки вечерние...»	42
«Шальные ветры задули фамильные ели...»	43
«И я не обнаружила себя...»	44
«В Благовещенскую неделю...»	45
Соловки	
1. «В третьем тысячелетии до нашей эры...»	46
2. «Соловецкие дни утекли в соловецкие ночи...»	47
3. «Сухой огонь брусники и листвы...»	48
«Мой сам себя насытивший народ...»	49
Песня	50
«Зеленым мхом заросшие слова...»	51
Год 1988	52
«Я погасила ясный, синий взгляд...»	53
«Если не птица – кто?...»	54
«У края лета выбирала тропы...»	55
«Только с птичьим полетом могла бы строку я сравнить...»	56
«Я доиграюсь с птицами когда-то...»	57
«Концы и начала...»	58
«Косаяк гусей, как точная цитата...»	59
«Не я кричала в тишине ночной...»	60
«Чуткость ночи на границе...»	61
«Белокаменной стеной высокою...»	62
«Окутаны друг другом, как плащом...»	63
«Птицы поцелуев отлетели...»	64
«Перезрелую плотью яблока...»	65
«В мой сон пришел с молодым лицом...»	66
«Светлая радость ударит осенним дождем...»	67
Письмо тебе из 1666 года	68
«В меня стреляли на большой охоте...»	69
«До слова, до бессмертья, до начала...»	70
«Меня в твоих стихах не отыскать?...»	71
«Тригорский парк усилием вершин...»	72
Михайловское	73
«С холмов стекали мощные слова...»	74
Околица Михайловского	75

Дом в Михайловском	76
«Холодные белые залы...»	77
«Все обнажилось до предела...»	78
«Тихая улица, дом в глубине...»	79
«Падала в ноги знакомым соснам...»	80
«Затанлась на миг на далекой окраине...»	81
Июльский день	82
«Как словарь, открывали меня этим летом...»	83
Сумерки в лесу	84
«Ночь смешала запахи и страхи...»	85
«Закат зажег огонь сиреневый...»	86
«Да я ли не помню начало дня...»	87
«Тревожит горестный огонь лампы...»	88
«Ручьи вскипали от избытка сил...»	89
«Бесстрастные сосны...»	90
«Июль – месяц великих трав...»	91
«На мокрой ленте серого асфальта...»	92
«Тихих трав, озаренных обыденным солнцем, истома...»	93
«Минет осень, и старые ветры...»	94
«Давно мы не улавливаем суть...»	95
«Сухие, темные подглазья...»	96
«В чужих домах хозяйка будто бы...»	97
Моему камню	98
Ломбард	99
«Стук. До порога шаг...»	101
«Желанный дом мы выстроим с тобой...»	102
«Вся жизнь – сеанс...»	103
«Былась над тайной любви, но она не моя...»	104
«Радость, боль, чистый лист и песня...»	105
«Я дерево на берегу пруда...»	106
«Наследник мой! Мой мальчик светлотник...»	107
«Год прошел на одном дыханье...»	108
«Тишина звенит бубенцами дня...»	109
«От любви остается слово...»	110
«Две птицы под моим окном...»	111
Воспоминание	113
«В закатную воду, по гребню меж светом и тенью...»	114
«Шелк небес распорот надвое...»	115
Час моего рождения	116

«Ощущение близкого гулко-го чуда...»	117
«Минул день, и особенной радости нет...»	118
«На перекрестке дара и судьбы...»	119
«В золотую воронку ночи...»	120
«Мой старый монах, золотое, веселое сердце...»	121
«Я видела совесть свою, стоящую в храме...»	122
«Черный лебедь и ветры дальние...»	123
Сны?	124
«Ах, ты, родина, земля обетованная...»	125
«И хаос торжествует...»	126
«И отчее слово в чужих, неумелых ладонях...»	127
«Слышу, слышу озабоченно...»	128
«Страна – сведенный злобою кулак...»	129
«Многочетное имя Твое...»	130
«В глубине России – в глубине души...»	131
«Смывала Русь грехи свои...»	132
«Похожий на собаку протондешнюю...»	133
«Лампада осветила ночь мою...»	134
«Лик золотой в углу...»	135
«Уже давно я не была...»	136
«Опять мне послышалась дальняя смутная весть...»	137
«Начало и конец – вот все, что имеет значение...»	138
«Вместо хлеба камень добрых слов...»	139
«Вся жизнь моя – от дельты до истока...»	140
«Признание приходит в суете...»	141
«Холод полета в огне мироздания...»	142
Совет Сократа	143
«По сообщениям Пиндара и Стесимброта...»	144
«Забыла греческую речь...»	145
«Литы тень свою чертили...»	146
«Сотни ритмов наполняют пульс...»	147
«Далеккий свет дорожку озарял...»	148
«Деревья, похолодевшие с ума...»	149
«Последние в ночи огни...»	150
«Если только возможен...»	151
«Ольга...»	152
«Крови ток – родовое дерево...»	153
«Когда мой сон, как старый ствол, несущен...»	154
«Прошелестели крылья в тишине...»	155

«Минута эта не отменит той...»	156
«Стучу в дубовые врата...»	157
«Так и сидит в соседней комнате...»	158
«На смолистых золотых ступенях...»	159
«В злые почвы, когда дунит плоть...»	160
«Звезда почная осветила сон...»	161
«Ровный свет простого дома...»	162
«Как обвал золотого песка...»	163
«Вещая птица, жгучая тайна...»	164
«Стокнула, пугаясь, как птица, в зеркало...»	165
«Тихие руки твои целую...»	166
«Вся моя жизнь – малиновый букет...»	167
«Это белые крылья неясных, сгорающих звуков...»	168
«Голос свой слышу, Боже мой...»	169
«Нечаянная радость в каждом дне...»	170
Письмо из августа	171
«Держись Горы...»	175
РОМАН	177
РАССКАЗЫ	200
СТАТЬИ	
19 января 1994 года	215
В XVI веке	216
На полках незданных библиотек	218
Рождество Христово	219
Музыка... ..	220
Обсерватория	221
Даниилу Андрееву	223
Рыцарь-женщина – Алла Андреева	225
Святослав, Вапша, Васенька, я люблю вас!	226

Лариса Реональдовна Патракова

Держись Горы

Стихи и проза

Рисунок на обложке – автора

